

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон

Введение

Вероятно, почти все признают Честертон классиком английской литературы, хотя бы классиком детектива. Читают его много, знают – мало и потому все еще удивляются, что писал он не только о католическом священнике, отце Брауне, чье священство нередко воспринимается как условность, но и о католических святых, и о христианстве вообще. После этой книги, видимо, удивляться будет трудно – в ней собраны его трактаты, которые, надеюсь, говорят сами за себя. Пересказывать их не стану; и здесь лишь попытаюсь предостеречь от недоразумений, постоянно возникающих, когда речь идет о Честертоне.

Внешне и житейская, и литературная судьба Честертон очень счастлива. Родился он в уютной и просвещенной семье 29 мая 1874 года, учился в одной из старейших и лучших школ, в 25–26 лет стал необычайно популярен, писал много, умер легко. Он был рассеянным и добрым, огромным и неуклюжим; его сравнивали с Рождественским дедом. Когда ему было 34 года, он написал «Ортодоксию», книгу о правоверии – наверное, одну из самых радостных книг нашего века.

Можно тут же описать и «второй план» – в отрочестве, юности и ранней молодости он невыносимо страдал от духа времени, лишеного надежды, любви и веры, и от собственного душевного мрака; всю жизнь хворал; на пятом десятке стал смертельно терять популярность и к концу жизни был если не посмешищем, то одиноким пророком. Некоторые критики полагают, что ему лучше было бы умереть в 1914 году. Он тяжело и странно болел, долго был без сознания, и можно сказать, что эта болезнь разделила его жизнь надвое.

Ему было ровно 40 лет. Шоу написал тогда, что возраст этот – роковой для великих людей, чаще всего они умирают. Скорее, такой возраст – 37; но не в этом дело, все тут тайна. Честертон как будто и впрямь умер. До этого он был веселым любимцем англичан, почти все лучшее (из романов и рассказов) написал, всех непрестанно смешил и сам вроде бы непрестанно веселился. Он сочувствовал либералам, до 1909 года – очень активно. У него было только одно несчастье, незадолго до болезни: его младший брат Сесил, известный и смелый журналист, попытался обличить фирму Маркони, которая получала выгодные заказы, тайно ссужая высоких чиновников деньгами, и потерпел полную неудачу. Для старшего брата это было, быть может, еще большим ударом, чем для него.

Началась первая мировая война. Честертон тяжело заболел. Сесил ушел на фронт, потом погиб. Лет за шесть Гилберт Кийт не написал ничего, равного прежним его эссе и рассказам; романов и трактатов вообще в это время не было. Позже, в 20-е годы, вышел новый сборник рассказов об отце Брауне и сборник о другом «сыщике-любителе», Хорне Фишере. Герой его – очень грустный человек, совершенно разуверившийся в том, что политика, да и общественная жизнь, может быть мало-мальски честной.

Стал ли грустным Честертон? Одни пишут, что он стал мудрым, другие – что он стал жалким. Кто бы ни оказался прав (скорее всего и те, и эти), уже не он бросал вызов миру; мир от него отвернулся. Конечно, он оставался живым классиком или на худой конец чем-то вроде полуклассика. Веселил он меньше, меньше и веселился. Он радовался, но радость, особенно в его системе ценностей, ничуть не противопоставлена печали.

То, чему он радовался, уже никак не относилось к «веку сему» – ни к общественной жизни, ни к идеям, ни к проектам. Надежды он ничуть не потерял, но надеялся только на очень простые, частные вещи, связанные не с человечеством, а с человеком.

Третьим, самым важным планом его жизни была несокрушимая, благодарная радость. С той минуты, как юношеский мрак сменился постоянным ощущением чуда, он этой радости не терял и написал о ней перед смертью, в последней главе своей биографии (этой главой, такой важной для него, кончается и наш сборник).

Англия же в то время вступила в ту полосу всезнайства, все отрицания и вседозволенности, последствия которой мир еще и сейчас не расхлебал. На что ей был набожный Честертон, верящий в крестьянство, в природу, в семью, в мужество и целомудрие? Католики хвалили его. Читатели же – не его любимые «common reople» (простые, обычные люди), а, по его словам, «те, кто живет среди книг и трибун», – с некоторым презрением удивлялись ему.

Как говорил он сам, случилось так потому, что люди догадались – он пишет всерьез. Этого никогда не любят, а уж в 20-х годах XX века это было совсем не ко времени. Вызов, который он бросал миру, наконец поняли – и ответили удивленным пренебрежением. И тут вышла книга, которую считают лучшей

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
апологией нашего столетия, – «Вечный человек».  
Конечно, так считают католики, надеюсь – вообще христиане. Еще в 60-х годах, когда ее стали читать у нас, она удивляла «ненаучностью». Не будем спорить о том, так это или не так, – смысл ее вообще не в этом, – но ведь культ науки был и в 60-х годах, и в 30-х. Словом, ни этот трактат, ни другой, о Фоме Аквинском (1933), не изменили того отношения к Честертону, о котором мы только что говорили – скорее способствовали разочарованию. Умер он сравнительно рано, всего шестидесяти двух лет, 14 июня 1936 года. Роналд Нокс, священник и критик, написал на его смерть несложный сонет. Приведу эти стихи, чтобы показать, каким был Честертон для своих искренних почитателей:

«Со мной он плакал», – Браунинг сказал,  
«Со мной смеялся», – Диккенс подхватил,  
«Со мною, – Блейк заметил, – он играл»,  
«Со мной, – признался Чосер, – пиво пил»,  
«Со мной, – воскликнул Коббет, – бунтовал»,  
«Со мною, – Стивенсон проговорил, –  
Он в сердце человеческого читал»,  
«Со мною, – молвил Джонсон, – суд вершил».

А он, едва явившийся с земли,  
У врат небесных терпеливо ждал,  
Как ожидает истина сама,  
Пока мудрейших двое не пришли.  
«Он бедных возлюбил», – Франциск сказал,  
«Он правде послужил», – сказал Фома[1].

Ключ к сонету прост – именно об этих людях у Честертона есть книги (о докторе Джонсоне – пьеса). Известней всего – книга о Диккенсе (1906). Книги о «двух мудрейших» читатель найдет в этом сборнике. Вторую из них ценили многие томисты XX века. Создан «Святой Фома Аквинский» незадолго до смерти, Честертону было трудно писать, он диктовал, и секретарь его Дороти Коллинз рассказывала, что он говорил ей: «Давайте-ка поделаем Томми!» Книга очень неровная, но – как почти всегда у Честертона – некоторые абзацы, а порой и страницы с лихвой искупают ее недостатки. «Святой Франциск» ровнее, он написан (не надиктован) раньше, в 1923 году, вскоре после того как Честертон и формально стал католиком.

Когда Честертон умер и Нокс читал свой сонет вместо надгробного слова, пришла телеграмма из Ватикана, в которой человека, называвшего себя только журналистом, именовали «защитником веры». Вскоре Уолтер де ла Мэр написал еще одни стихи, для надгробия, и всякий, кто приедет в Биконсфилд, увидит слова: «Рыцарь Святого Духа...»

Надеюсь, этому уже не удивятся – но возникает другое затруднение. Когда неизданные переводы его статей и книг стали ходить по рукам – а началось это в 1961 году, – читатели, знавшие понаслышке, что он проповедник и апологет, нередко удивлялись его непозволительной легкости. Одних христианских мыслителей читать трудно, других – нетрудно, но все же они посерьезней, чем какая-то «христианская журналистика». Легкость его вводила в соблазн, и многие склонны были, несмотря на объяснения, решить, что он все же эксцентрик ради эксцентрики, но – в отличие от любителей его детективных притч – не восхищались этим, а скорее недоумевали.

Всякому, кто собирается читать Честертон, полезно помнить, что так бывает с ним всегда. Он любил сюжеты, основанные на том, что кого-то просто не видят, чего-то не слышат. Именно это случилось с ним самим, в нем постоянно не замечают чего-нибудь; и этот очерк – только перечень слепых пятен. Тем, кого смутила его легкость, помочь нетрудно. Честертон легок, но не легковесен. Он не относился всерьез к себе, но всегда принимал всерьез свои мнения. Наверное, больше всего на свете он ненавидел гордыню. Собственно, незачем гадать: он абсолютно верен учению, согласно которому гордыня – грех грехов, и сам писал, что если бы ему дали прочитать одну-единственную проповедь, он говорил бы именно о гордыне. Гордыне он противопоставлял смех. Конечно, он знал, что есть смех гордый и жестокий, смех-глумление; но полагал, что большая опасность в напыщенной серьезности, и противопоставлял ей смех-смирение, первый признак которого – готовность быть смешным, посмеяться над самим собой.

Чтобы этому не изменить, он, всегда за все плативший, намеренно снижал жанр, слог, манеру и своего добился – проповедь его прикрыта, прикровенна. Нельзя гордиться, что ты его читал, нельзя глубокомысленно его цитировать; многого с ним сделать нельзя. Если он для вас не «учитель надежды» (одно из его прозваний – *Doctor spei*), вы усмехнетесь в лучшем случае снисходительно, в худшем – презрительно. С глупой, многозначительной

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
серьезностью к нему относиться невозможно.

Поэтому именно он имел право написать о Божьем дурачке, святом Франциске. И тут возникает еще одно затруднение: конечно, кому же еще писать о том, кого именовали «человеком среди святых»? Вспоминаешь, как почитали Франциска либералы прошлого века. Честертон, назвавший одного из любимых героев «последним либералом» и сказавший, что больше всего на свете сам он любит свободу и английские стихи, вполне мог, казалось бы, противопоставить чудачество, смех, свободу всему, совершенно всему остальному. Но это не так.

Чтобы сократить рассказ о «слепых пятнах», прибегнем к тому, что очень любил Честертон, – к трюизмам и к простейшей логике. Можно быть суровым к себе и другим. Можно быть к себе и другим милостивым. Можно, хотя и мерзко, быть милостивым к себе, а к другим – суровым. Поборники «порядка любой ценой» часто суровы к «беспорядку» вообще – и к своему, и к чужому. Это честно, но очень опасно. Люди 20-х годов (называю их так условно) думали, что они легко прощают и чужие, и свои грехи, особенно «грехи энтропии»; слишком уж всякий порядок был связан у них с тем, что они отвергали, словно подростки, собираясь начать все заново. Франциск был предельно милостив к другим. Если это – либерализм, он – либерал из либералов.

Стоит ли напоминать, особенно после этой книги, что путь святого Франциска не шире и легче других, а уже и труднее? Конечно, в отличие от катаров, предпротестантских движений, позднейших сект, он с жалостью и любовью смотрел на тех, кто живет иначе. Он не отсекал их от церкви, и все же они были для него «христианами слабого посла», как выразился один нынешний францисканец. Видимо, он считал, что подобные ему и его братцам несут на себе их грехи, отвечают за них, как отвечают взрослые за неразумных детей; но это уже другая тема, сказано об этом много, и здесь в ней не разобратся. Что до Честертона, он действительно «возлюбил бедных».

Невольно вспоминаешь Иоанна Златоуста, когда читаешь у него обличения «богатых» (об Евангелии не говорю, слишком часто доказывают, что таких обличений в нем нет). Он именно любил бедных – не только жалел их, но восхищался ими. «Бедные, алмазы Божьи...» – пишет он в эссе «Великан», «трогательные радости бедных» описывает в «Диккенсе». Но верный срединной традиции, он не ставил во главу угла путь добровольной бедности. Франциск считал, что высшую радость обретает только тот, кого прогонят от дверей ненастной ночью. Честертон даже и не пытался встать на такой путь и, что удивительней, почти не славил его, не призывал к нему. «Дом» для него, может быть – главное, ключевое слово. В стихах из «Перелетного кабака» и в одном эссе он отождествляет дом и свободу; в другом эссе, неправильно прочитав слово в старой книге, доказывает, что небеса – это замкнутое место, четкое и уютное, как дом.

Конечно, и Честертон, и Франциск прекрасно различали «мир сей» – падший, полный суеты и страстей, и «мир благой»; однако Франциск добровольно отказался от здешних, земных даров – семьи, дома, доброго застолья, а Честертон не отказался. Тем не менее, говоря о Честертоне, некоторые исследователи называют его аскетом, так как он был «прикован к мысли». Существует и другое предположение, дополняющее, а не отвергающее это: может быть, он видел, что в наши дни, как между боями или в лагере, просто не нужны добровольная нищета и добровольное унижение. Именно об этом мне говорил осенью 1966 года Генрих Бёлль и даже написал статью, к сожалению, неопубликованную.

Как бы то ни было, Честертон глубоко почитал освященный многовековым опытом путь к совершенству; однако в романах, рассказах и даже эссе он славит и постоянно описывает людей, принявших дары «благого мира». В статье о Бернарде Шоу, напечатанной в сборнике 1984 г. [2], к сожалению, нет конца (его зачеркнули в корректуре), а заканчивается она так: «Когда Христос основал Свою великую Церковь, он положил в ее основание не боговидца Иоанна, не гениального Павла, а простака, ловчила, труса, словом – человека». У Честертона всего два героя вроде Франциска, скорее даже вроде ангела; первый из них – афонский монах, второй – раскаявшийся вор. Остальные «добрые христиане» у Честертона разные, но далеко не такие светносные, от простодушного и мудрого отца Брауна до людей самого что ни на есть «слабого посла». Иногда кажется, что Честертон чуть-чуть сдвигает границу «благого мира», захватывая что-то из «мира сего», – он чрезвычайно терпим к довольно спорным свойствам «людей Петра», к прижимистости, скажем, к воинственности, к самой нетерпимости.

Вполне возможно, что он опасался, как бы легкость Франциска не истолковали неверно, не приняли за аномию и анархию. Ведь это бывало – и в движениях средневековья, и в недавних поветриях, когда, скажем, хиппи совершенно серьезно сравнивали себя не только с Франциском, но и с апостолами, если не

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
с Христом. Честертон постоянно напоминал, что он – «упорствующий в правоверии», и в этом он снова едва ли не уникален теперь. Он никогда не уклонялся ни «вправо», ни «влево», не ставил ни на незаконный порядок, ни на незаконную свободу, но отстаивал единство доброй свободы и доброго порядка. Они нераздельны для него, они необходимы вместе. Во многих книгах это просто показано, как бы роздано героям, в нем самом – соединено, и уже поэтому он всегда стоит против мира. Качнет к «игровому сознанию», снимающему различие между добром и злом, к аномии, к анархии – те, кто попроще, признают Честертон своим, те, кто прозорливей, возненавидят. Качнет к насильственной добродетели – то же самое. А он упорно отказывается жертвовать ради порядка уважением к чужому пути, ради свободы – нетленными нравственными ценностями.

Поэтому книга о Франциске неполна без книги о Фоме. Как и многие герои Честертон, эти святые тоже «вместе кроют мир». Опасно, если покажется, что эсхатологическая легкость Франциска исключает для христиан спокойную разумность Фомы. Но опасно и другое (теперь, в отличие от 60-х годов или XIX века, чаще забывают именно это). Обратившись, люди нередко обретают какое-то неприятнейшее, важное благополучие. Некоторые считали, что оно есть у Честертон. Это не так. Иоанн XXIII, «папа XXI века», снова напомнивший миру о незащищенности, вызове и милости христианства, прекрасно поладил бы с таким апологетом. Но в самом трактате о Фоме радость и здравомыслие не всегда уравновешены той скорбью и тем «безумием», без которых христианства нет. Видимо, «Франциска» без «Фомы» публиковать не так опасно, как «Фому» без «Франциска». Или, точнее, теперь опасно публиковать одного «Фому», лучше подождать, пока у нас не станет меньше неопитов, которые как бы выше незнания, сомнений, страданий. (Именно «подождать» – сделать здесь что-либо трудно.) Конечно, такой же «оскорбительный оптимизм» есть повсюду; но в христианстве он очень уж странен – где же глубина и мудрость Писания? Приходится помнить о том, что это – реакция на тьму и полную растерянность.

Наконец, еще одна трудность, уже не внутренняя, а внешняя. Наверное, время повлияло на трактаты – часто мы (те, кто открыл и полюбил Честертон тридцать или сорок лет назад) сами думаем, что он устарел. Случайно ли в самом конце 60 – начале 70-х появился в России Клайв Стейплз Льюис? Начинались годы, когда с самыми простыми нравственными понятиями стало вращаться что-то странное. Может быть, такая усталость, все ближе подводящая к полной аномии, была неизбежной – рассыпались идеалы, а это всегда опасно, хотя не опасней идолопоклонства. Строгий, взрослый Льюис тоже лишен важности и слащавости, но он обращен к иным людям, живущим на другой ступени лестницы, ведущей прочь от веры и от нравственности. Честертон сегодня может показаться уже не легким, а легковесным, словно мы старше его. Но не исключено, что это иллюзия. Очень вероятно, что его простота и радость вообще неподвластны времени, связаны лишь с вечностью, и правы те, кто считает его мистиком, визионером, видящим преображенный мир. И самое последнее: для таких книг, как эта, условия сейчас не очень благоприятны. Важности, пошлости, слащавости, просто какой-то дикости вокруг «религиозных тем» уже столько, что даже Честертон может вызвать инстинктивную неприязнь как раз у самых чутких и чувствительных людей. Легче всего понять именно их.

И все-таки, сколько бы сомнений ни вызывали его книги, повторим то, что сказал С. С. Аверинцев в послесловии к первому сборнику очерков Честертон: «...честертоновское видение вещей сплошь да рядом бывает вызывающе неверным в конкретных частностях и неожиданно верным, даже точным, в том, что касается общих перспектив, общих пропорций... Любая тема – предлог, чтобы еще, и еще, и еще раз поговорить о самом главном: о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства... Неистощимый, но немного приедающийся поток фигур мысли и фигур речи, блески слога, как поблескивание детской игрушки, – и после всего этого шума одна или две фразы, которые входят в наше сердце. Все ради них и только ради них» [3].

Н. Трауберг

## Глава 1

### КАК ПИСАТЬ О СВЯТОМ ФРАНЦИСКЕ

В наше время в нашей стране очерк о святом Франциске можно написать одним из трех способов. Писатель должен выбрать, и я выбрал третий – по-видимому, самый трудный. Точнее, он был бы самым трудным, если бы два других не были невозможны.

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)

Во-первых, он может рассматривать этого великого и поразительного человека как историческое лицо, воплощение общественных добродетелей. Он может описать святого народолюбца как единственного в мире демократа (и окажется прав). Он может сказать (хотя это и очень мало значит), что святой Франциск обогнал свой век. Может сказать (с полным основанием), что святой Франциск в то же время предвосхитил все лучшее, либеральное, доброе, что есть в современном мире, – любил природу, любил животных, жалел бедных, понимал духовную опасность богатства и даже собственности. Все, чего не знали до Уордсворта[4], знал святой Франциск. Все, что открыл нам Толстой[5], само собой разумелось для святого Франциска. Его можно представить читателю не просто добрым, а гуманным, первым героем гуманности. Многие считали его утренней звездой Возрождения. И, по сравнению со всем этим, его аскетическую набожность можно не принимать во внимание; можно отмахнуться от нее, как от неизбежной в его век случайности, которая почему-то не привела к несчастному случаю. Можно счесть его веру суеверием, досадным предрассудком, от которого не мог освободиться даже гений, и прийти к выводу, что несправедливо осуждать Франциска за самоотречение и нечестно ругать его за безбрачие. Ведь и с такой отдаленной точки зрения он останется героем. Даже так найдется что сказать во славу человека, который отправился к сарацинам, чтобы прекратить крестовые походы, и защищал птиц перед императором. Можно объективно и учено описать ту силу, которая отразилась в картинах Джотто[6], в поэмах Данте[7], в мистиках[8], положивших начало нашему театру, и во многих других, столь ценных нами вещах. Можно писать историю святого, обходя Бога. Это все равно, что писать о Нансене, ни словом не упоминая Северный полюс.

Возможна и другая крайность. Религиозный энтузиазм может стать героем книги, как был он героем францисканства. Можно писать о вере как о реальности, какой она и была для реального Франциска. Можно отыскать особую, суровую радость в парадоксах аскезы и святой нелепице смирения. Можно испещрять бумагу печатями стигматов[9] и расписывать посты как схватки с драконом, пока в смутном современном сознании святой Франциск не станет суровым, как святой Доминик[10]. Короче говоря, можно сделать негатив, на котором тьма и свет поменяются местами. Для глупых все это будет непроницаемо, как ночь; для большинства умных – невидимо, как серебро на белом. Такую биографию святого Франциска не поймут те, кто не верит, как он, и поймут лишь отчасти те, кто не любит, как он. Одни сочтут его слишком плохим, другие – слишком хорошим для этого мира. Но так написать я не могу. Только святой может описать жизнь святого. Мне это не под силу.

Наконец, можно попытаться сделать то, что попытался сделать я, хотя, как я уже говорил, возникнут новые трудности. Можно поставить себя на место беспристрастного и любознательного современного человека. Я сам был таким и еще не до конца изменился. Можно для начала стать на точку зрения людей, которые восхищаются в святом Франциске тем, чем вообще привыкли восхищаться. Другими словами, можно предположить, что читатель по меньшей мере стоит на уровне Ренана и Мэтью Арнольда[11], и, исходя из этого, попытаться объяснить ему то, чего не объяснили они. Можно объяснить непонятное через понятное. Можно сказать: «Этот человек действительно жил на свете, и многим из нас по душе его жизнерадостность, его милосердие и щедрость. Но были у него и некоторые другие качества, ничуть не менее искренние, которых мы не понимаем и даже боимся. Однако это человек, а не семья и не племя. То, что несовместимо для нас, вполне совместимо для него. Не можем ли мы, используя то, что мы знаем, понять эти, другие стороны, столь темные для нас и до смешного непохожие на все, что любят теперь?» Конечно, я не надеюсь решить такую сложную психологическую задачу в моем коротком, поверхностном очерке. Я просто хочу сказать, что буду все время обращаться к дружественному и непосвященному читателю. Я не рассчитываю ни на большее, ни на меньшее. Материалисту безразлично, можно ли примирить эти противоречия. Верующий вообще не увидит здесь противоречий. Но я пишу для обычного современного человека, не враждебного, не скептического, и разрешаю себе надеяться, что привычно живописные, подкупающие черты Франциска помогут мне хоть немного показать его сущность. Я надеюсь, что читатель чуть лучше поймет, почему поэт, воспевающий солнце, прятался в темной пещере; почему святой, жалевший Брата Волка, был столь суров к Брату Ослу[12], собственному телу; почему трубадур, чье сердце зажгла любовь, сторонился женщин; почему он радовался огню и бросался в снег; и почему одна и та же песня начинается язычески страстным: «Слава Господу за сестру нашу землю, что родит траву, и плоды, и пестрые цветочки», а кончается словами «Слава Господу за сестру нашу смерть».

Ренану и Мэтью Арнольду это оказалось не под силу. Они охотно хвалили святого Франциска, пока им разрешали предрассудки, упрямые предрассудки скептиков. Если Франциск делал что-нибудь им непонятное или неуютное, они

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
не пытались ни понять его, ни тем более оправдать; они просто отворачивались от него, как обиженные дети. Мэтью Арнольд спешит отделаться от аскетических подвигов Альверно, словно это досадное, хотя и явное пятно посреди прекрасной картины или, скорее, прискорбная безвкусица в конце рассказа. Но только слепой может счесть Альверно[13] ровалом святого Франциска, как только слепой сочтет Голгофу провалом Христа. И Альверно, и Голгофа – прежде всего горы, и глупо говорить, как Белая Королева[14], что по сравнению с чем-то другим это просто ямы. И на той, и на другой горе достигли высшей точки и жизнь Христа, и жизнь святого Франциска. Говорить о стигматах с сочувствием или с досадой – то же самое, что считать позорными пятнами раны самого Иисуса. Можно питать отвращение к духу аскетизма; можно ненавидеть самую мысль о мученичестве; можно, в сущности, искренне возмущаться самопожертвованием Страстей. Но если ваша ненависть не глупа, вы сохраните способность видеть суть дела, которому служит мученик и даже монах. Вряд ли, читая Евангелие, вы сочтете Крестную Жертву посторонней, второстепенной или досадной случайностью. Она пронзит вас, как пронзила скорбь сердце Божьей Матери.

И вы не поймете человека, прозванного Зерцалом Христа, если не понимаете, почему он кончил жизнь в скорби и в тайне, а в одиночестве своих последних лет обрел неисцелимые, нерукотворные раны, подобные тем, другим, исцелившим мир.

Я не буду сейчас пытаться примирить радость с лишениями – пусть это сделает сама книга. Но я заговорил о Мэтью Арнольде, и Ренане, и рационалистических поклонниках Франциска, и потому скажу сейчас, что, по-моему, нужно иметь в виду. Для этих прекрасных писателей стигматы оказались камнем преткновения, потому что религия для них – разновидность философии. Религия для них безлична; но только самая личная из страстей поможет в какой-то мере хоть что-нибудь понять. Человек не кинется в снег из-за идеи или тенденции, он не будет голодать во имя отвлеченных, пусть самых правильных понятий. Но он перенесет и голод, и холод по совсем другой причине. Он перенесет их, если он влюблен. Когда в самом начале жизни Франциск сказал, что он трубадур[15], а потом говорил, что служит новой, высшей любви, это была не метафора; он понимал себя гораздо лучше, чем понимают его ученые. Даже в суровейших крайностях аскетизма он оставался трубадуром. Он был влюбленным. Он любил Бога и любил людей, что еще реже встречается. Тот, кто любит людей, не имеет ничего общего с филантропом. В сущности, в ученом греческом слове кроется ирония. Филантроп, строго говоря, может любить и антропоидов. Но святой Франциск любил не человечество, а людей, не христианство, а Христа. Говорите, что он был сумасшедший; говорите, если вам нравится, что он любил воображаемое лицо – но лицо, не идею! Для современного читателя самый лучший ключ к аскетизму – история сумасбродных влюбленных. Расскажите жизнь Франциска как жизнь трубадура, безумствующего во имя дамы, и все станет на свое место. Никого не удивит, что поэт собирает цветы на солнцепеке и простаивает ночи в снегу; перевозносит телесную, земную красоту – и не ест; славит золото и багрец – и ходит в лохмотьях; стремится к счастью – и к мученической смерти. Все эти загадки легко разрешаются в простой истории любой благородной любви; а его любовь была так благородна, что девять человек из десяти даже не подозревают, что бывает такая. Мы увидим позже, что сравнение с земной любовью объясняет многое в его жизни, в его отношениях к отцу, и к друзьям, и к их семьям. Современный читатель способен понять почти всегда, что, если бы только он сам был способен на такую любовь, все крайности обернулись бы для него романтикой. Я говорю об этом в начале, потому что это, хотя и ни в коей мере не окончательная истина о нем, самый лучший к ней подход. Читатель не разберется ни в чем, и многое покажется ему диким, пока он не поймет, что вера великих мистиков подобна не теории, а влюбленности. И в этой вводной главе я обращаюсь к тем, кто, восхищаясь святым Франциском, не может принять его или, точнее, принимает святого, отбрасывая его святость. Я берусь за это дело отчасти потому, что сам был таким. Многие из того, что я в какой-то мере понимаю теперь, я считал когда-то недоступным пониманию; многое, что стало для меня священным, я отбрасывал как предрассудки. Многие стало ясно и светло для меня, потому что я смотрю изнутри; но глядя снаружи, я искренне верил, что все это темно и дико, когда, много лет назад, меня потрясла впервые слава святого Франциска. И я жил в Аркадии[16], но даже в Аркадии я встретил человека в бурой монашеской одежде, который любил леса лучше, чем Пан[17]. Фигурка в бурой одежде стоит на камне в комнате, где я пишу. Он – один среди многих других – был мне другом на каждой ступени моего паломничества. Очаг и светлый огонь связаны с первой радостью, которую дали мне его слова «брат мой огонь». Причудливые тени огня – тени его любимых зверей и птиц, окруженные сиянием любви Божьей, – напоминают мне театр теней на стене детской. Святой Франциск так глубоко проник в мое сознание, что слился с

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
самыми домашними ощущениями детства. Я принял его Брата Волка и Сестру Овцу, как Братца Кролика и Братца Лиса святого дядюшки Римуса[18]. Потом, постепенно я увидел в нем многое другое, но это, первое, я никогда не забуду. Он стоит на мосту, перекинутом из моего детства к моему обращению; романтика его веры сумела пробить даже рационализм смутных викторианских времен. Так было со мной; и потому, быть может, я проведу других хоть немного, совсем немного по этому пути. Никто не знает лучше, чем знаю теперь я, что на этот путь бояться ступить и ангелы. Я понимаю, что задача мне не под силу, но я не боюсь – ведь он любил неразумных.

## Глава 2 МИР, КОТОРЫЙ ЗАСТАЛ СВЯТОЙ ФРАНЦИСК

Теперь, когда газеты заменили историю или, точнее, ту традицию, которую можно назвать исторической сплетней, стало легче хотя бы в одном отношении. По крайней мере, теперь ясно, что мы не знаем ничего, кроме конца. Газеты не просто сообщают новости, – они сообщают обо всем как о новости. Например, совершенно новым оказался Тутанхамон[19]. Точно так же из сообщений о смерти генерала Бэнгса мы узнали, что он когда-то родился. После войны мы узнали немало об освобожденных народах; но мы ни разу не слышали, что эти народы поработаны. Нам твердят о примирении, а мы не знали о ссоре. Нам некогда заниматься такими скучными вещами, как сербский эпос, – куда увлекательней обсуждать на современном жаргоне проблемы югославской дипломатии. Мы увлекаемся тем, что зовется Чехословакией, но не удостоили внимания Богемии. Вещи, старые, как Европа, подаются нам в виде сенсаций, не уступающих в свежести последним сообщениям из жизни американских прерий. Это очень интересно, как интересна последняя сцена пьесы. Тем, кому достаточно выстрела или объятия, проще – да и легче – приходиться перед самым занавесом. Но если вам захочется узнать, кто же кого убил, кто кого целовал и почему, – этого мало. Современные историки, особенно английские, страдают этим недостатком. В лучшем случае они рассказывают половину истории христианства, причем последнюю. Те, для кого разум начинается с гуманистов, а вера – с Реформации[20], никогда не расскажут о чем-нибудь полностью, ибо придется начать с институций, чьего происхождения им не понять и даже не представить. Подобно тому, как мы знаем о смерти нерождавшегося генерала, мы знаем все об уничтожении неизвестно почему и как возникших монастырей. Конечно, этого мало даже для умного человека, ненавидящего монастыри. Этого ничтожно мало и для того, чтобы ненавидеть даже вполне заслуживающие ненависти вещи. Все вы, наверное, слышали от историков и романистов о темном деле, называемом испанской инквизицией. Дело это действительно темное хотя бы потому, что темно его происхождение. Протестантская история начинает прямо с ужасов, как пантомима начинает с короля чертей на бесовской кухне. Я не сомневаюсь, что испанская инквизиция, особенно к концу, была действительно страшной, а то и бесовской; но почему? Чтобы понять испанскую инквизицию, надо понять прежде всего две совершенно неизвестные нам вещи – Испанию и инквизицию. Первая поставит нас перед великой проблемой крестового похода против мавров, и мы узнаем, как герои и рыцари спасли Европу от пришельцев из Африки. Вторая вызовет к жизни всю сложность другого крестового похода – похода против альбигойцев[21], и мы узнаем, почему люди любили и почему ненавидели всеотрицающее восточное наваждение. Пока мы не поймем, что то и другое началось с опрометчивости и романтики крестового похода, нам не понять, куда именно пробрались предательство и зло. Конечно, крестоносцы злоупотребили победой, но победа была. А где победа, там и смелость, там и народная любовь. Восторг победы покрывает ошибки и подстрекает к крайности. Например, я давно, с молодости, говорил о том, что Англия жестока к ирландцам. Но несправедливо описывать бесовщину 98-го года[22], не упомянув о войне с Наполеоном[23]. Несправедливо утверждать, что англичане хотели только смерти Эммета[24]; в действительности их куда больше волновала славная смерть Нельсона[25]. К сожалению, это грязное дело не кончилось 98-м, и несколько лет назад наши политики снова попытались прибегнуть к убийству и грабежу, мягко укоряя ирландцев, поминающих былое. Говорить о войне с Ирландией, забывая, как бескорыстны были мы в войне с Пруссией, – нечестно по отношению к Англии. Точно так же нечестно по отношению к Испании расписывать орудия пытки словно ужасные игрушки. Да, история инквизиции кончилась плохо. Я ничуть не требую признать, что она и начиналась хорошо. Мне просто жаль, что для многих она вообще не начиналась. Нынешние люди прибыли лишь к ее смерти или даже, как лорд Том Нодди, опоздали к повешению. Да, инквизиция бывала

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
страшнее любой виселицы, но они собирают лишь прах от праха, видят лишь пепелище костра.

Я случайно привел в пример инквизицию. Какое бы отношение ни имела она к святому Доминику, со святым Франциском она не связана. Позже я скажу, что ни Франциска, ни Доминика нельзя понять, если не понимаешь, чем были для XIII века ересь и крестовый поход. Но сейчас у меня другая цель. Я хочу показать, что историю святого Франциска нельзя начинать с его рождения, – тогда ничего в ней не поймешь, лучше и не рассказывать. А в наше время рассказывают именно так, задом наперед. Мы узнаем о реформаторах, понятия не имея, что же они реформировали; узнаем о мятежниках, даже и не представляя себе, против чего они восстали; узнаем о восстановлении того, чего не было. Рискаю тем, что глава непомерно разрастется, я все же расскажу хоть немного о великих движениях, которые привели к появлению Франциска. Вам может показаться, что я берусь описать мир или мироздание, чтобы рассказать об одном человеке. К сожалению, мир и мироздание мне придется описать, непростительно обобщая. Я не пытаюсь показать, как мал нищий монах на фоне огромного неба, – я хочу окинуть взором небо, чтобы мы поняли, как он велик.

Сама эта фраза велит мне сказать то, без чего не обойдешься, начиная даже очерк о Франциске. Необходимо увидеть – пусть упрощенно, пусть грубо – мир, в который попал святой Франциск, и прошлое этого мира, хотя бы то, которое Франциска касалось. Надо написать, как Уэллс, «Исторический очерк» [26]. Что до Уэллса, ясно, что наш замечательный писатель страдал, как страдает тот, кто ненавидит своего героя. Писать об истории, ненавидя Рим, то есть и императоров, и пап, – значит, собственно, ненавидеть почти все на свете. Еще немного – и возненавидишь человека из чистого человеколюбия. Отрицая и воина, и пастыря, лавры победителя и нимб святого, отсекаешь себя от множества людей, а этого не возместить даже столь сильному и тонкому разуму. Чтобы понять, какое место в истории занимает святой Франциск – пастырь и воин, – надо быть шире и любвеобильней. Итак, я закончу эту главу обобщениями о мире, который Франциск застал.

Люди не верят из узости. Сам я сказал бы, что они не так кафоличны [27], чтобы стать католиками. Но я не хочу обсуждать сейчас доктрины христианства, я пишу об его истории, такой, какую способен видеть ее человек с умом и воображением, даже если сам он – не христианин. Я говорю о том, что сомнения чаще всего порождены мелочами. Беспечно читая книги, вы узнаете о языческом обряде – и он вам кажется прекрасным, узнаете о деянии христиан – и оно вам кажется жестоким; но вам не хватает широты, чтобы увидеть главное в язычестве и в христианской реакции на него. А пока это так, вы не поймете исторического мгновения, когда Франциск появился, и сути его великой, поистине народной миссии.

Наверное, все знают, что в XII – XIII веках мир проснулся. Именно тогда развеялись долгие чары сурового и бесплодного времени, которое мы зовем Темными веками [28]. XIII же век можно назвать освобождением; во всяком случае, его можно назвать развязкой несравненно более жестокой и бесчеловечной эпохи. Что же кончилось? От чего освободились люди? Тут-то и расходятся мнения толкователей истории. С внешней, мирской стороны люди действительно проснулись после долгого сна; но пока они спали, они видели разные сны – и вещие, и жуткие. Наши рационалисты считают, что люди просто очнулись от кошмара суеверий и двинулись по пути просвещения. Но тем, для кого Темные века – тьма и больше ничего, а заря, занявшаяся в XIII веке, – только свет, никогда не разобраться в жизни святого Франциска. Дело в том, что его радость и радость его Божьих скоморохов – не только радость пробуждения. С Темными веками кончился не только сон, во всяком случае – не только кошмар.

Кончилась епитимья [29], если хотите – кончился срок чистилища. Мир очистился от страшной духовной немощи. Изгнали эту немощь века аскезы, ничто другое не изгнало бы. Христианство явилось в мир, чтобы исцелить его, и лечило единственным возможным способом.

С внешней, практической стороны высокая цивилизация древних кончилась тем, что люди вынесли из нее определенный урок – обратились в христианство. Урок этот связан с психологией, а не только с теологией. Языческая цивилизация действительно была очень высокой. Нам ничуть не опасно, нам даже выгодно признать, что ничего более высокого человечество до сих пор не создало. Древние изобрели непревзойденные способы и словесного, и пластического изображения мира; вечные политические идеалы; стройные системы логики и языка. Но они сделали еще больше – они поняли свою ошибку.

Эта ошибка так глубока, что нелегко найти для нее подходящее слово. Проще и приблизительней всего назвать ее поклонением природе. Можно сказать, что древние были слишком естественны. Греки – великие первооткрыватели – исходили из очень простой и на первый взгляд очевидной мысли: если человек

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
пойдет прямо по большой дороге разума и природы, ничего плохого случиться не может, тем более если человек этот так разумен и прекрасен, как древний грек. И не успели греки пойти по этой дороге, как с ними приключилась действительно странная вещь, такая странная, что о ней почти невозможно рассказать. Замечу лишь, что наши самые отвратительные реалисты не пользуются добрыми плодами своего метода. Обсасывая гнусности, они не в состоянии заметить, что свидетельствуют в пользу традиционной морали. Если бы я любил такие вещи, я бы мог привести тысячу примеров из их книг в защиту христианской этики. Никто не написал полной, совсем правдивой истории греческих нравов. Никто не показал, какое огромное место занимала некая странность. Мудрейшие люди в мире пожелали жить согласно природе и почти сразу занялись на редкость противоестественным делом [30]. Почему-то любовь к солнцу и здоровью естественных людей привели прежде всего к поразительно противному извращению, заражавшему всех, как мор. Самые великие, даже чистые мудрецы не смогли его избежать. Почему? Казалось бы, народу, чьи поэты могли создать Елену [31], а скульпторы – Афродиту [32], нетрудно остаться нормальным в этом отношении. Но тот, кто поклонился здоровью, не останется здоровым. Если человек идет прямо, его дорога крива. Человек изогнут, как лук; христианство открыло людям, как выправить эту кривизну и попасть в цель. Многие посмеются над моими словами, но поистине благая весть Евангелия – весть о первородном грехе. Рим еще жил и рос, когда греческие его наставники уже гнили на корню, ибо не слишком спешил у них учиться. Он сохранял куда более достойный, патриархальный уклад, но в конце концов и он погиб от того же недуга, порожденного прежде всего языческим культом природы. К несчастью античной цивилизации, для огромного большинства древних не было ничего на мистическом пути, кроме глухих природных сил – таких, как пол, рост, смерть. У нас вошли в поговорку времена Нерона [33], когда садизм восседал на троне среди бела дня. Но то, о чем я говорю, и глубже и сложнее, чем привычный перечень зверств. С человеческого воображением случилась дурная вещь – весь мир окрасился, пропитался, проникся опасными страстями, естественными страстями, которые неуклонно вели к извращению. Древние сочли половую жизнь простой и невинной – и все на свете простые вещи потеряли невинность. Половую жизнь нельзя приравнивать к таким простым занятиям, как сон или еда. Когда пол перестает быть слугой, он мгновенно становится деспотом. По той, по иной ли причине он занимает особое, ни с чем не сравнимое место в человеческом естестве; никому еще не удалось обойтись без ограничения и очищения своей половой жизни. Современные разговоры о половой свободе, о теле, прекрасном, как растение, – или описания райского сада, или просто плохая психология, от которой мир устал две тысячи лет тому назад.

Не надо путать все это с праведными обличениями порочной античности. Древний мир был не столько порочен, сколько способен понять, что становится все порочнее или, во всяком случае, логически на порочность обречен. У магии природы не было будущего, ее можно было углубить только в черную магию. Для нее не было будущего; в прошлом она была невинна лишь по молодости. Можно сказать, что она была невинна потому, что была поверхностна. Язычники оказались умней язычества, потому они и обратились. Тысячи древних были и мудры, и добродетельны, и доблестны, но груз народных сказок, носивших название религии, прибавал их к земле. Я пишу о реакции на это зло и повторяю: оно было повсюду. В самом полном и буквальном смысле слова, имя ему было – Пан.

Не сочтите за метафору то, что я скажу, – им действительно нужны были новое небо и новая земля, потому что они опоганили свое небо и свою землю. Как могли они поднять глаза к небу, когда непристойные легенды смотрели на них со звезд? Что могла им дать любовь к цветам и птицам после тех историй, что про них рассказывали? Всех свидетельств не приведешь, пусть одно заменит многие. У всех нас слово «сад» вызывает трогательные ассоциации – легкая печаль вспоминается нам, или невинные радости, или нежные старые девы, или старый священник у изгороди, под сенью колокольни. Если вы хоть немного знаете латинскую поэзию, вспомните, что стояло в их садах вместо солнечных часов или фонтана, нагло и весомо, в ярком солнечном свете; попробуйте вспомнить, каков был бог их садов [34].

Поистине от этого наваждения могла избавить только в полном смысле слова неземная религия. Вряд ли стоило проповедовать древним естественную религию цветочков и звезд – не осталось ни одного чистого цветка, ни одной неоскверненной звезды. Приходилось идти в пустыню, где цветы не растут, и в пещеру, откуда звезд не увидишь. В эту пустыню, в эту пещеру ушла мудрость мира на тысячу лет, и мудрее она ничего не могла сделать. Спасти ее было под силу только сверхъестественному; если Бог не спас бы ее, то уж божества – тем более. Ранние христиане звали бесами языческих богов, и были правы.

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Какова бы ни была поначалу религия древних, теперь только злые духи обитали в опустевших святилищах. Пан стал только паникой, Венера – только венериным грехом[35]. Я совсем не думаю, конечно, что каждый язычник был таким, даже в самом конце. Но отходили они от этого поодиночке. Глубоко личное дело, называемое философией, почти ничем не было связано с коллективной религией; в этом – главное отличие язычников. Они знали гораздо лучше нас, что с ними такое, какие бесы искушают и мучают их, и перечеркнули много веков новыми словами: «Сей род изгоняется молитвой и постом»[36].

Святой Франциск и начало XIII века тем и важны, что вплоть до них длилось искупление. Конечно, люди Темных веков были и грубы, и невежественны, и ни к чему не способны, кроме войн с еще более грубыми языческими племенами, но они были чисты. Они были как дети. Первые, грубые образцы их искусства сохранили нам чистую радость детей. Попробуйте представить себе Европу, испещренную маленькими общинами, большей частью феодальными, сложившимися в борьбе с варварами, иногда – монашескими, которые были намного заботливей и мягче. Это огромное пространство ощущало себя империей, потому что Рим властвовал над ним хотя бы как легенда. В Италии сохранился пережиток лучшего, что было в античности, – здесь были республики, маленькие государства с демократическими идеалами, в которых нередко действительно жили граждане. Но в отличие от античных они не были открыты со всех сторон, их везде окружали стены, чтобы обороняться от феодалов, и все жители города считали себя солдатами. Один из таких городов, удобно примостившийся на лесистых холмах Умбрии, назывался Ассизи. Из его ворот, из-под высоких башен вышла к людям благая весть: «Ваша борьба кончилась, ваш грех прощен». И тогда из камней феодализма и обломков римского права стала складываться огромная, почти универсальная цивилизация средних веков.

Без сомнения, нельзя приписывать все это одному человеку, даже если он – лучший, своеобразнейший человек своего века. Простая этика братства и честности существовала и до него, она никогда не исчезала полностью из христианского мира. Мы найдем великие триумфы о справедливости и сострадании в самых простодушных летописях варварской эпохи и в самых суровых поучениях поздней Византии. И в XI, и в XII веках мы видим признаки духовного подъема. Но в этом подъеме еще была суровость, которой окрашены долгие века покаяния. Рассвет наступал, но небо было еще серым. Монашество много старше франциска, оно почти такое же старое, как христианство. Стремление к совершенству издавна принимало форму обетов целомудрия, бедности и послушания. Несмотря на свои неземные цели, монахи давно уже цивилизовали большую часть света. Они научили людей пахать и сеять, а не только читать и писать. В сущности, они научили людей почти всему. Но можно с полным правом сказать, что монахи были строго практичны – не только практичны, но и строги. Конечно, в основном они были строги к себе, а другим людям полезны. Старое монашество установилось давно и кое-где уже стало вырождаться. Но во всех движениях раннего средневековья мы видим эту суровость. Это можно показать на трех примерах.

Во-первых, античное рабовладение уже исчезало. Раб превратился в крепостного, свободного в своей семье. Но кроме этого, многие освобождали и рабов, и крепостных – всегда под давлением Церкви и, как правило, в припадке покаяния. Конечно, во всяком христианском обществе живет дух покаяния. Но я имею в виду тот гораздо более сильный дух покаяния, которым вытравлялись пороки античности. Один честный атеист, споря со мной, сказал: «Христиане живут в рабстве, потому что боятся ада». Я ответил ему: «Если бы вы сказали, что рабы получили свободу только потому, что их владельцы боялись ада, это был бы по крайней мере бесспорный исторический факт».

Другой пример – реформа церковной дисциплины, проведенная папой Григорием VII[37]. Цели ее были весьма высокие, а результаты – самые здоровые. Она была направлена против коррупции священства. Но привела она к целибату, что при всей возвышенности может показаться немного суровым. Третий пример – самый сильный. Я говорю о походе героическом, для многих из нас священном, но все же несущем всю страшную ответственность военного похода. Здесь не хватает места, чтобы сказать все, что надлежит, об истинной природе крестовых походов. Каждый знает, что в самый темный час Темных веков появилась в Азии ересь и стала новой религией, воинственной и кочевой религией мусульманства. Она была похожа на многие ереси, вплоть до монизма[38]. Еретикам она казалась здоровым упрощением веры; католикам кажется упрощением нездоровым, потому что сводит веру к одной идее и лишает ее свободного дыхания и равновесия христианства. Во всяком случае, она угрожала христианству, и христианство нацелило удар в самое ее сердце, попыталось отвоевать Святые места. Великий герцог Готфрид[39] и первые христиане, штурмовавшие Иерусалим, были героями, если вообще есть на свете герои, но это были герои трагедии.

Я привел в пример три дофранцисканских движения, чтобы показать в них общую

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
черту, обусловленную тем духом покаяния, который пришел на смену античности. Все они подобны ветру, дующему в холодный день. Этот чистый, суровый ветер действительно продувал насквозь мир, проходивший очищение. Для всякого, кто чувствует дух эпохи, есть что-то чистое и бодрое в атмосфере тех грубых, а иногда и жестоких эпох. Даже разнузданность там чиста – в ней нет привкуса извращения. Даже жестокость чиста – в ней нет пресыщенности римского цирка, ее порождают простой ужас перед кощунством и простая ярость оскорбленного воина. Постепенно на этом темном фоне возникает красота, очень свежая и трогательная, и прежде всего – небывалая. Возвращается любовь, уже не платоническая, а та, которую до сих пор зовут рыцарской. Цветы и звезды обретают первоначальную невинность, вода и огонь уже достойны стать братом и сестрой святому. Мир очистился от язычества. Сама вода отмылась. Сам огонь преобразился в пламени. Вода – уже не та вода, куда бросали рабов на съедение рыбам. Огонь – уже не тот огонь, куда бросали детей на съедение молоху [40]. Цветы уже утратили запах приапова сада; звезды перестали служить холодным далеким богам. И вода, и огонь, и цветы, и звезды ждут новых имен от того, кто вытравил из души последний след поклонения природе и потому может вернуться к ней. И вот в самом конце долгой, суровой, почти беззвездной ночи маленький человек внезапно и тихо взошел на холм и стал над городом, темный на темном фоне. Он поднял руки, как поднимал потом на стольких статуях и картинах, над ним запели птицы, а за его спиной занялся день.

### Глава 3 ФРАНЦИСК-ВОИТЕЛЬ

По преданию (может быть, неверному, но очень достоверному), само имя святого франциска не столько имя, сколько прозвище. Такому негордому, простому человеку очень подходит откликаться на прозвище, как отзывается школьник на кличку «французик». По этому преданию, его звали Иоанн, Джованни, но товарищи окрестили его франческо за любовь к французской поэзии. Более вероятно, однако, что мать назвала его Джованни в отсутствие отца, а тот, вернувшись из торговой поездки во Францию, где ему очень повезло, воспытал такой любовью к французскому вкусу и обычаю, что назвал сына «франком» или «французом». В любом случае имя не лишено значения: Франциск с первых же дней связан с краем, который стал для него романтической, сказочной страной трубадуров. Отец его, Пьетро Бернардоне, был зажиточный горожанин, член гильдии торговцев тканями в городе Ассизи. Трудно объяснить, что это значит, не объясняя, чем была тогда гильдия и даже чем был тогда город. Бернардоне не был похож ни на современного торговца, ни на купца, ни на дельца, вообще – ни на кого из тех, кто живет теперь, когда правит капитал. Быть может, он нанимал работников, но не был предпринимателем, то есть не принадлежал к особому классу, отделенному стеной от наемников. Точно мы знаем лишь об одном человеке, чей труд он использовал, – о его сыне, который, как нетрудно догадаться, был едва ли не последним, с кем связался бы любой делец, если бы мог нанять другого. Он был богат, как бывает богат крестьянин, живущий трудом своей семьи, но обрекал свою семью на труд, который ничуть не изящней крестьянского. Он был уважаемым горожанином, но общественный строй его времени не дал бы ему выдвинуться выше; строй этот удерживал людей его класса на невысоком уровне. Никакое богатство не давало сыновьям торговца той возможности избежать черной работы, благодаря которой в наше время они часто сходят за лордов, или хотя бы за джентльменов, или за кого-нибудь еще, только не за сыновей торговца. Это было правилом, и даже исключения подтверждают его. Франциск принадлежал к тому типу людей, который любят всегда и везде: он был простодушен, общителен, подражал трубадурам, следовал французской моде и благодаря всему этому стал романтическим вожакom местных юнцов. Он сорил деньгами и по доброте, и по чудачеству, чего и следует ожидать от человека, который до конца жизни не понял, что такое деньги. Его мать приходила в отчаяние, и любовалась им, и говорила, как могла бы сказать жена ремесленника: «Он будто принц, а не наш сын». Но одно из первых известных нам событий его жизни произошло на рынке, у прилавка, когда он продавал ткани; не знаю, считала ли его мать, что такое занятие свойственно принцам. Эта первая картина – юноша на базаре – символична во многих отношениях. То, что там произошло, помогает нам понять одну замечательную черту франциска задолго до того, как ее преобразила вера. Он продавал бархат и тонкое шитье какому-то видному горожанину, когда к нему подошел нищий и попросил милостыни – по всей вероятности, не слишком вежливо. В том грубом и простом обществе не было законов, запрещающих

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
голодному просить пищу, – они возникли в более гуманное время; и, пользуясь отсутствием организованных блюстителей порядка, бедные могли безнаказанно докучать богатым. Но во многих местах обычай не разрешал вмешиваться в частную сделку; вполне возможно, что именно из-за этого нищий попал в особенно глупое положение. Франциск всю свою жизнь очень любил людей, попавших в безвыходно глупое положение. В данном случае он раздвоился между нищим и покупателем, отвечал рассеянно, а может, и раздраженно. Наверное, ему было особенно не по себе, потому что он был вежлив от природы. Все согласны с тем, что вежливость его бросалась в глаза, просто была в нос, как маленькие фонтаны на солнечных итальянских рынках. Он мог бы написать сам и сделать своим девизом стихи Беллока[41]:  
Все говорят, что мужество и честь  
Достойнее, чем вежливости лесть,  
Но мне дано, блуждая, рассуждать,  
Что в вежливости – Божья благодать[42].

Никто не сомневался, что Франческо Бернардоне мужествен и честен в самом простом, даже воинственном смысле этих слов, и недалеко было время, когда все признали, что его осеняет благодать. Но, мне кажется, сам он был щепетилен только в делах щепетильности. Если такой смиренный человек и гордился чем-нибудь, он гордился своими манерами. Однако за его безукоризненно-естественной вежливостью крылись куда более дивные и даже дикие свойства, чей первый проблеск мы видим в этой обычной сцене. Франциск едва не раздвоился, но как-то избавился от покупателя и тут увидел, что нищий ушел. Тогда он выскочил из шатра, бросил без присмотра рулоны шитья и бархата и помчался за нищим через рынок. Он пронесся по лабиринту узеньких извилистых улочек, случайно наткнулся на своего нищего и, к его удивлению, дал ему много денег. Потом он, так сказать, стал тихо и поклялся перед Богом, что никогда не откажет в помощи бедняку. Стремительная простота этих действий более чем характерна для него. Никто на свете не боялся так мало за свои обещания. Его жизнь просто целиком состояла из безрассудных обетов, и все эти обеты он выполнил. Первые биографы Франциска, вполне естественно жившие его великим религиозным переворотом, столь же естественно искали в начале его жизни знамений и знаков, предвосхищающих землетрясение духа. Но мы отошли от него дальше, и думаю, воздействие не уменьшится, а увеличится, если я признаю, что не было никаких знаков, ничего особенно мистического в молодом Франциске. В отличие от многих святых он далеко не сразу осознал свою миссию. Больше всего он мечтал прославиться французскими стихами и подвигами на поле брани. Добрым он родился; он был смел, как большинство мальчиков; но и доброта его и смелость кончались примерно там же, где кончались они у мальчиков. Например, он, как и все, очень боялся проказы, и в таком страхе нет ничего стыдного. Он любил яркие и веселые цвета во вкусе средневековой геральдики и, по-видимому, одевался пышно и пестро. Если бы он не окрасил мир алым цветом любви, он расцвел бы его всеми цветами радуги, как на тогдашних картинках. Но когда юноша в ярких одеждах бежал за нищим в лохмотьях, проявились те черты его личности, о которых нужно помнить всегда.

Во-первых, он бежал быстро. Собственно, с той поры он так и не остановился. Поскольку едва ли не все его дела были делами милосердия, очень много пишут о его кротости. Она и впрямь была в нем, и самая истинная, но легко ее неправильно понять. В нем не было тихости, он все время куда-то стремился. Только его, из всех святых, можно было бы изобразить, как изображают иногда ангелов с крыльями на ногах или даже вместо ног, в духе стиха о том, что ангел – и ветер, и вестник, и пламя[43]. При всей его мягкости стремительность его нередко граничила с нетерпением. Если мы постигнем эту психологическую истину, мы поймем, как неверно употребляют сейчас слово «практичный». По-видимому, теперь полагают, что практичен тот, кто выбирает самое выгодное, то есть самое легкое. В этом смысле святой Франциск совершенно непрактичен и цели его – никакие не мирские. Но если называть практичным того, кто действует сразу, не откладывая, он практичен. Некоторые сочтут его сумасшедшим, но с бесплодным мечтателем он нимало не схож. Никто не назовет его деловым, но человеком действия он был, в молодости – даже слишком. Он действовал слишком сразу, слишком быстро, в ущерб благоразумию. И на каждом повороте своего небывалого пути он огибал углы так же резко и неожиданно, как огибал их, гонясь за нищим по кривым улочкам Ассизи.

Проявилась тут и другая черта, которая жила в его душе как инстинкт раньше, чем превратилась в мистический идеал. По-видимому, черта эта никогда не исчезала из маленьких республик средневековой Италии. Многие не могут ее понять, южане понимают лучше северян, католики – лучше протестантов. Он

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
никогда не сомневался в том, что все люди равны. Не надо путать это с францисканским человеколюбием – на практике это чувство равенства нередко приводило к поединкам. Наверное, дворянин не может стать поборником равенства, пока не способен поссориться со слугой. Такое чувство стало одной из основ францисканского братства, и в этом происшествии мирской, молодой поры оно проявилось сполна. Я думаю, Франциск действительно не знал, кого слушать, и, послушав купца, счел нужным послушать и нищего, ибо и тот, и другой были для него людьми. Такие вещи очень трудно описывать там, где их не знают, но в том-то и было дело, потому народное движение и возникло в этом краю и начал его этот человек. Его милосердие, словно башня, достигло звездных высот, на которых кружится голова, а то и мутится ум; но строил он на высокоом плоскогорье равенства. Я взял один из сотни рассказов о юности святого Франциска и остановился на нем подольше, ибо, пока мы не увидим сути, рассказы эти останутся для нас немного легковесными. Святому Франциску не к лицу покровительственный тон «занятных историй». Их много; но слишком часто в них видят сентиментальные опивки средневековья, не понимая, что святой прежде всего – это вызов веку сему. Земной, человеческий путь Франциска надо увидеть серьезнее; и следующая история, показывающая нам его, – совсем другая. Однако и она как бы случайно открывает нам бездны его сознания, а может, и подсознания. Франциск все еще кажется обычным молодым человеком, но, если мы взглянемся в него, мы увидим, каким необычным он был.

Вспыхнула война Ассизи с Перуджей. Теперь принято подсмеиваться над тем, что войны между тогдашними городами-республиками не столько вспыхивали, сколько вечно тлели. Скажем только, что, даже если бы одна из них продолжалась сотню лет, навряд ли погибло бы столько людей, сколько мы убиваем за год на нашей современной научной войне между современными промышленными империями. Конечно, граждане средневековых республик отстало умирали за то, что любили: за дома, где они жили, за святыни, которые чтили, за хорошо знакомых правителей и представителей. Они не могли прогрессивно умирать за последние слухи о дальних колониях, переданные безмянными журналистами. Если же, основываясь на собственном опыте, вы решите, что войны парализовали цивилизацию, признайте хотя бы, что воюющие города дали нам паралитика Данте и паралитика Микеланджело, Ариосто[44] и Тициана, Леонардо и Колумба, не говоря уже о Екатерине Сиенской[45] и герое этой книги. Если местный патриотизм – прискорбный пережиток Темных веков, почему же три четверти великих людей вышло из тех городов и участвовало в тех стычках? Еще посмотрим, что выйдет из наших столиц, но с тех пор, как они разрослись, о великих людях не слышно. И мальчишеская мечта не дает мне покоя: а что, если их и не будет, пока клепем[46] не опояшет стена и не протрубит в ночи труба, призывая к оружию жителей Уимблдона[47]?

Во всяком случае, в Ассизи она протрубила, и граждане взялись за оружие, а среди них был Франциск, сын торговца. Он выступил в поход с отрядом воинов и в какой-то стычке, или в набеге, или когда еще они попали в плен. Самым вероятным кажется мне, что кто-то их предал или струсил, ибо с одним из пленных товарищей отказывались общаться даже в темнице, а это равносильно обвинению. Как бы то ни было, кто-то заметил одну вещь, занятную, не очень значительную, скорее дурную, чем хорошую. Франциск обходился с товарищами любезно, даже радушно, «свободно и весело» (как кто-то сказал о нем), стараясь ободрить и их, и себя. И вот, обращаясь к отверженному – к трусу ли, изменнику, не знаю, – он просто ни в чем не менял тона, не проявлял ни холодности, ни сострадания, говорил все с той же веселой простотой. Но если в темнице был человек, умеющий видеть истину и духовную суть, он мог бы понять, что перед ним – нечто новое, почти беззаконное: глубокое течение, стремящееся в неведомое море любви. У Франциска действительно был недостаток, ему не доставало одного качества. В одном отношении он был слеп и потому видел лучшие, красивейшие вещи. Все ограничения доброй дружбы и вежества, все запреты общественной жизни, отделяющие недолжное от должного, все общественные предрассудки и условности, естественные и даже неплохие у обычного человека, связывающие воедино немало вполне пристойных сошеств, не сдерживали его. Он любил по-своему. Вероятно, он любил всех; но особенно сильно любил он тех, из-за кого не любили его самого. Что-то великое и всеобщее обитало в тесной темнице, и наш духовидец узрел бы во тьме алый нимб милосердия милосердий, выделяющий из святых этого святого. Он услышал бы тихий голос неслыханного благословения, которое позже сочли хулою: «Он внемлет тем, кому сам Бог не внемлет».

Духовидец узрел бы это, но я сомневаюсь, мог ли это узреть Франциск. Он поступал так по бессознательной щедрости сердца, которую в средние века прекрасно именовали широтою, и ее можно было бы счесть беззаконной, если бы она не подчинялась высшему, Божьему закону; но я сомневаюсь снова в том, что Франциск знал, чей это закон. Он не собирался оставить войско и не

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org) помышлял о монастыре. Что бы ни говорили пацифисты и умники, можно любить людей и сражаться с ними, если ты сражаешься честно и за доброе дело. Но мне кажется, здесь было не только это: по-видимому, молодой Франциск вообще тяготел к рыцарской, воинской нравственности. И вот первая неудача пересекла его путь – он заболел той болезнью, которая много раз вставала препятствием на его отчаянном пути. Болезнь сделала его серьезней, но так и кажется, что стал он более серьезным воином и даже более серьезным в воинственности. А пока он выздоравливал, путь приключений и славы открылся перед ним, и путь этот был куда шире, чем тропа стычек и набегов. Некий Готье де Бриен[48] оспаривал корону Сицилии – многие оспаривали ее тогда, и папа призвал народ ему на помощь, а призыв этот нашел отклик в сердцах юношей Ассизи. Франциск решил отправиться в Апулию на помощь графу; быть может, роль сыграло и французское его имя. Не надо забывать, что, хотя мир того времени был миром маленьких вещей, вещи эти были связаны с другими, большими. В испещренных крохотными республиками землях было больше интернационализма, чем в огромных, однородных, непонятных наших странах. Власть правителей Ассизи вряд ли простиралась дальше тех мест, куда долетела бы стрела из лука с городской стены; но сердце их могло быть и с норманнами в Сицилии, и с трубадурами в Тулузе, и с императором в германских лесах, и с папой, умиравшим в Салерно. Когда век живет верой, он по сути своей един. В чем больше вселенского, чем во Вселенной? Многие в религиозных воззрениях той поры не совсем ясно нынешним людям. Например, такие давние времена смутно представляются нам древними, ранними, каким-то детством мира. Нам кажется, что все это было на заре христианства. Но Церковь уже перевалила за первое тысячелетие, она была старше современной Франции и много старше Англии. Она и казалась старой, почти такой же старой, как сейчас, а может быть, и старше. Слово Карл Великий[49], одолевший язычников в сотне схваток, которого, по легенде, ангел просил сразиться снова, хотя седобородому королю исполнилось двести лет, Церковь отсражалась первое тысячелетие и начала второе. Она прошла через Темные века, когда одно оставалось ей – отчаянно биться с варварами и упрямо твердить Символ Веры[50]. Его твердили по-прежнему, после победы или спасенья, но нетрудно предположить, что повторение это стало однообразней. Церковь казалась старой, как и сейчас, и некоторые, как сейчас, думали, что она умирает. На самом деле вера не умерла, но, может быть, стала скучнее, во всяком случае, некоторым она уже казалась скучной. Трубадуры и труверы[51] уже пошли или свернули туда, где обитают восточные вымыслы и парадоксы уныния, которые кажутся европейцам невиданно новыми, когда их собственный здравый смысл немного застоится. После веков безнадежных сражений и безрадостной аскезы могло показаться, что признанное правоверие несколько застоялось. Свобода и свежесть раннего христианства казались тогда, как и сейчас, безвозвратно утерянным, едва ли не доисторическим Золотым веком. Рим был разумней других городов, Церковь была мудрее мира, но вполне могло показаться, что устала она больше. Наверное, в безумной метафизике Востока было что-то пленительное и дерзновенное. Темные тучи пессимизма собирались над Средиземным морем, чтобы разразиться грозой междоусобицы и раскола. Только вокруг Рима светил свет, но он был бесцветным, земля – плоской, и неподвижный воздух стоял в тишине над священным градом.

В высоком темном доме, в Ассизи, Франческо Бернардоне спал и грезил битвой. И в темноте ему явилось видение – сверкающие мечи крестоносцев, и пики, и щиты, и шлемы, все со знаком креста. Проснувшись, он принял сон за зов, за клич и кинулся к коню и к оружию. Франциск любил рыцарские забавы и – в битве ли, на турнире – не уступил бы настоящим рыцарям. Несомненно, он предпочитал христианское толкование рыцарства, но в те дни прежде всего жаждал славы, хотя для него она ничем не отличалась от чести. Его не миновала мечта о лаврах, завещанная Цезарем всем латинянам. И когда он уходил из дома на войну, высокие ворота в толстой стене Ассизи огласились его последней похвальбой: «Я вернусь великим вождем».

Но в дороге болезнь вернулась к нему и его свалила. Более чем вероятно, что по нетерпеливому своему нраву он встал намного раньше срока. И во мраке второй, куда более тягостной отсрочки он снова видел сон и слышал голос: «Ты не понял видения. Вернись в Ассизи». Больной Франциск поехал домой. Он был разочарован, разбит, быть может, осмеян, ему оставалось одно: ждать, что будет. Тогда он впервые спустился в темную яму, которую зовут юдолью унижения. Она показала ему голую и неприютную, хотя позже он отыскал в ней много цветов.

Не только разочарование и позор мучили его – он ничего не понимал, он был сбит с толку. Франциск твердо верил, что сны его – вещие, и не понимал, что же они предвещали. Когда он гулял (или даже слонялся) по улицам Ассизи и в полях за городской стеной, странная вещь приключилась с ним. По-видимому,

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
он не сразу ее связал со снами, но для меня ясно, что она завершает, увенчивает их. Где-то – наверное, в открытом поле – он ехал верхом и увидел кого-то, и остановился, ибо к нему шел прокаженный. Он сразу понял, что отваге его дано испытание – не так, как мир дает [52], а так, как испытывает нас Знающий сердце человека. Не копыта и знамена Перуджи шли на него – от них бы он не бежал; не войско, сражавшееся за корону Сицилии, – к грубой, простой опасности он относился так же, как и всякий храбрый человек. Его тайный страх шел к нему по дороге; тот страх, что приходит не извне, изнутри, хотя он и стоял перед ним, белый в солнечном свете. И единственный раз за долгую, опасную жизнь душа его застыла. Потом он спрыгнул с коня, не испытав того чувства, что лежит между оцепенением и порывом, кинулся к несчастному и обнял его. Так началось его служение прокаженным, а служил он им немало. Этому, первому, он отдал все деньги, вскочил на коня и поехал дальше. Мы не знаем, далеко ли он отъехал и о чем думал, но говорят, когда он обернулся, дорога была пуста.

#### Глава 4 ФРАНЦИСК-СТРОИТЕЛЬ

Мы дошли до перелома в жизни Франциска из Ассизи; до дней, когда случилось то, чего не поймут многие из нас, простых и себялюбивых, которых Господь не ломал, чтобы создать заново.

Я не сразу решил, как мне писать об этой трудной поре – ведь я хочу, чтобы мирские, хотя и благосклонные к религии люди поняли меня. Поколебавшись немного, я решил, что правильнее всего рассказать сперва о событиях, лишь касаясь собственных догадок об их смысле. Смысл этот легче обсудить потом, когда он явил себя во всей жизни святого. События же такие.

Летописцы немало говорят о старенькой, заброшенной церкви Святого Дамиана, древнем ассизском святилище, которое просто разваливалось на части.

Франциск молился там перед Распятием в те смутные и пустые переходные дни, когда рухнули его мечтания о воинской славе, а может, и признание в обществе, что совсем уже невыносимо для таких чувствительных людей. И вот, молясь, он услышал голос: «Франциск, разве ты не видишь, что дом Мой рушится? Иди почини его для Меня».

Франциск вскочил и пошел. Он всегда был готов вскочить и сделать что-то. Может быть, он и шел, и делал, еще не совсем понимая, что именно он делает. Во всяком случае, он поступил решительно, опрометчиво и уж точно во вред своей репутации. На грубом мирском языке, он украл. С его собственной, восторженной точки зрения, он дал своему почтенному отцу высокую, радостную, неоценимую возможность участвовать (не вполне осознанно) в восстановлении церкви Святого Дамиана. Если следовать фактам, сперва он продал своего коня, потом – несколько штук шелка из отцовской лавки, причем на каждой начертал крест, дабы обозначить, что служат они благочестию и милости. Петр Бернардоне видел все в другом свете. Свет вообще не слишком занимал его, особенно свет и пламень духа, охвативший его странного сына. Вместо того чтобы понять, что Франциска несет нездешний ветер; вместо того чтобы сказать (как сказал потом епископ), что Франциск поступил плохо ради благой цели, он действовал круто в самом прямом, даже юридическом смысле слова. Подобно античным отцам, он применил непререкаемую власть и сам посадил сына под замок, как простого вора. Кажется, на бедного Франциска набросились многие из тех, кто раньше его любил; так, попытавшись отстроить дом Божий, он только разрушил свой собственный дом и чуть не погиб под обломками. Ссора затягивалась, становилась все тяжелее. Какое-то время юный Франциск, видимо, и впрямь пробыл под землей, в погребе или в пещере. Это был самый тяжкий миг его жизни. Все ополчились на него, он оказался на самом дне.

Когда он вышел на свет Божий, люди поняли не сразу, что он стал иным. Епископ позвал на суд и его, и отца, ибо Франциск отказался подчиниться мирской власти. С тем исключительным здравым смыслом, которым оттеняет Церковь самые дикие поступки своих святых, епископ сказал, что деньги надо вернуть. Он сказал, что хорошей цели нельзя служить дурными средствами; короче (и грубее) говоря, он дал понять, что, если молодой фанатик рассчитается со старым дураком, вопрос будет исчерпан. Франциск в то время был уже не тот. Он уже не подчинялся отцу, тем более не пресмыкался перед ним; но, мне кажется, в том, что он сказал, нет ни обиды, ни праведного гнева, ничего похожего на сведение счетов. Они скорее похожи на загадочные слова его великого Учителя – на «Что Мне и Тебе?» и даже на страшное «Кто мать Моя?» [53].

Франциск встал перед всеми и сказал: «Я звал отцом Петра Бернардоне, теперь

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
я слуга Господень. Я верну отцу и деньги, и все, что он считает своим, даже  
платье, которое он дал мне». Он снял с себя одежды – все, кроме одной; и  
люди увидели, что это власяница.

Он сложил одежду в углу, а наверх положил деньги. Потом обернулся к  
епископу, словно отвернулся от всех других, и получил благословение, и, по  
преданью, вышел в холодный мир. Видимо, мир впрямь был холодным, землю  
покрыл снег. Рассказывая об этом переломе в его жизни, летописцы приводят  
очень важную и любопытную подробность. Он шел в одной власянице по зимнему  
лесу, по мерзлой земле, среди голых деревьев. У него не было ни отца, ни  
денег, ни ремесла, ни планов, ни будущего. И вот, под белыми деревьями, он  
внезапно запел.

Примечательно, что пел он по-французски, точнее, на том провансальском  
наречии, которое тогда называли французским языком. Этот язык не был ему  
родным, а прославился он как поэт стихами на родном языке – в сущности, он  
один из первых в Европе писал на своем говоре. Но именно с французским  
языком были связаны его мальчишеские мечты; то был для него язык романтики.  
На первый взгляд очень странно, на глубокий, последний – очень важно, что  
именно французские слова полились с его уст в крайней крайности. Почему  
важно, я попытаюсь показать в следующей главе. Сейчас замечу: вся философия  
святого Франциска состояла в том, что он видел естественные вещи в  
сверхъестественном свете и потому не отвергал, а полностью принимал их. Но  
пока мы перечисляем факты, я прошу запомнить, что в зимнем лесу, во  
власянице, словно строжайший из отшельников, он пел на языке трубадуров.  
Пора вернуться к той разрушенной или просто заброшенной церковке, ради  
которой он пошел на невинное преступление и претерпел блаженное наказание.  
Он не бросил ее, и она насыщала целиком его ненасытную страсть к действию.  
Теперь он действовал иначе. Он больше не пытался преступить законы  
коммерческой этики, царившие в Ассизи. Ему пришел на ум один из тех великих  
парадоксов, которые оказываются на поверку общими местами. Он понял: чтобы  
построить церковь, совсем не надо ввязываться в деловую жизнь и, что еще  
труднее для него, в судебные дела. Не надо нанимать рабочих за чужие  
деньги, даже за свои. Чтобы отстроить церковь, надо строить.

Он пошел собирать камни. Он просил их у каждого встречного. В сущности, он  
стал тем небывалым нищим, который просит камень вместо хлеба[54]. Возможно,  
как всегда с ним бывало, сама необычность его просьбы привлекала внимание.  
Богатых и праздных людей занимало его чудачество, как могло бы увлечь  
забавное пари. Он строил сам, своими руками, таскал на себе камни, как  
вьючная скотина, не гнушался самой черной работой. Об этой поре его жизни,  
как и о прочих, есть много рассказов; но для моей цели, то есть для  
простоты, я хотел бы, чтобы все поняли, как он вернулся в мир через тесные  
врата работы. Во всем, что он делал, было второе значение, словно тень его  
падала на стену. Все было похоже на аллегорию; и, вполне возможно,  
тупоумный человек науки захочет когда-нибудь доказать, что сам Франциск –  
только аллегория. В определенном смысле можно сказать, что он делал два  
дела сразу и восстанавливал не только дамианову церковку. Он учился  
понимать, что слава его не в том, чтобы убивать на поле брани, а в том,  
чтобы творить, созидать, утверждая мир. Он действительно строил что-то еще,  
во всяком случае, начал строить. Он строил то, что часто приходило в  
упадок; то, что никогда не поздно чинить. Он строил церковь. А Церковь  
всегда можно построить заново, даже если остался только камень, и врата  
адовы не одолеют ее[55].

Потом, все так же пылко, он принялся чинить еще одну церковь, маленькую  
церковку Царицы ангелов в Порциункуле. Чинил он и церковь Апостола Петра; и  
та особенность его жизни, из-за которой эта похожа на символическое  
действие, побудила благочестивых биографов отметить символичность числа три.  
Но две церковки были знаменательны в прямом, практическом смысле. В церкви  
Святого Дамиана много позже он с кларой[56], своей духовной невестой,  
ставил неповторимый опыт – создавал женский орден кларисс. А церковка в  
Порциункуле останется навсегда одним из величайших зданий мира, ибо именно  
там он собрал почитателей и друзей и она стала домом многим бездомным. Но в  
ту пору он вряд ли замыслил эти монастыри. Конечно, я не знаю, когда  
великий план созрел в его уме, но если описывать факты, началось с того,  
что несколько человек один за другим присоединились к нему, потому что, как  
и он, стремились к простоте. Весьма знаменательно, что стремились они к той  
самой простоте, к какой призывает Новый завет. Пылкий Франциск давно  
поклонялся Христу. Подражать Христу он начал здесь.

Те двое дальновидных, которые первыми поняли, что происходит в мире духа,  
были Бернардо, почтенный горожанин, и Пьетро, священник соседней церкви.  
Заслуга их велика, ибо Франциск к тому времени скатился на самое дно, к  
нищим и прокаженным, а этим двоим было что терять: один жертвовал  
удобствами жизни, другой – признанием церкви. Богатый Бернард в полном

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
смысле этих слов продал имение свое и роздал бедным. Петр сделал еще больше – он поступился духовной властью (а был он, наверное, человек взрослый, с устоявшимися привычками) и пошел за молодым чудаком, которого почти все считали безумцем. Что именно сверкнуло перед ними, что именно видел тогда Франциск, я расскажу позже, если об этом вообще можно рассказать. Сейчас мы должны увидеть только то, что видел весь город; а видел он, как верблюд во славе проходит сквозь игольное ушко[57] и Бог совершает невозможное, ибо Ему все возможно[58]. Он видел, как священник уподобился не фарисею[59], но мытарю[60] и богатый ушел с радостью, потому что не имел ничего. По преданию, три странных человека построили себе хижину или лачугу неподалеку от убежища прокаженных. Там они и беседовали, когда им это позволяли тяжелый труд и опасность (ведь ухаживать за прокаженным в десять раз страшнее, чем сражаться за корону Сицилии), беседовали на языке новой жизни, как беседуют дети на тайном своем языке. Мы мало знаем об их дружбе, но мы достоверно знаем, что они остались друзьями до конца. Бернард стал для Франциска сэром Бедивером[61], «первым, кого посвятили в рыцари, последним, кто оставался с королем». Мы видим его одесную святого, у смертного ложа, где он получает особое благословение. Но это было уже в другом мире, очень далеко от трех оборванных чудаков в едва держащейся хижине. Они не были монахами, разве что в том буквальном и древнем смысле слова, когда монахом называли отшельника. Трое одиноких жили сообща, но не составляли общества. Видимо, все это было очень частным, личным делом, если смотреть извне, частным до безумия. И первое обещание того, что это станет движением, первый знак миссии мы видим в ту минуту, когда они обратились к Новому завету.

Они погадали на Евангелии. Многие протестанты, в сущности, гадают на Библии, хотя и ругают гаданья как языческий предрассудок. Конечно, открыть Библию наугад – совсем не то же самое, что копаться в ней, а Франциск именно открыл ее наугад. По одному преданию, он просто начертал крест на Новом завете, открыл его трижды и прочитал три текста. Первым выпал рассказ о богатом юноше, чей отказ вызвал в жизни великую нелепицу о верблюде и игольном ушке. Вторым – наставление ученикам не брать с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха.[62] Третьим – истинный перекресток книги, текст о том, что последователь Христа должен отвергнуть себя и взять крест свой[63]. По другому преданию, Франциск услышал один из этих текстов в церкви, когда читали Евангелие на этот день. Вероятно, это случилось очень рано, в самом начале уединенной жизни, почти сразу после ссоры с отцом, ибо только после этого Бернард, первый его ученик, роздал имение нищим. Если это так, значит, хоть какое-то время Франциск жил в хижине один, как отшельник. Он жил на людях, все видели его, но от мира он скрылся. Святой Симеон Столпник[64] на своем столбе был, в сущности, на виду, но все же его положение нельзя назвать обычным. Можно догадаться, что почти каждый считал положение Франциска необычным, а некоторые – даже и ненормальным. Правда, католическому сообществу легче (пусть подсознательно) понять такие вещи, чем языческому и пуританскому. Но в ту пору, мне кажется, сограждане не слишком сочувствовали Франциску. Я уже говорил, что к тому времени и Церковь, и все с ней связанное состарилось, устоялось, в том числе монашество. Здравый смысл в средние века был привычнее, чем в наш поверхностный газетный век; но люди, подобные Франциску, непривычны везде, и одним здравым смыслом их не понять. XIII век, конечно, был прогрессивным веком, может быть, единственным прогрессивным веком в истории. Его можно с полным правом назвать прогрессивным именно потому, что прогресс шел очень равномерно. Это и впрямь была пора реформ без революций. Реформы были не только прогрессивны, но и очень практичны и приносили огромную пользу отнюдь не отвлеченным вещам – городам, гильдиям, ремеслам. Но жители города и члены гильдий были в те времена весьма почтенными. Они знали гораздо больше равенства в экономическом смысле слова, ими гораздо справедливей управляли, чем нами, мечущимися между голодом и сверхприбылью; но, вероятно, почти все они были твердолобыми, как крестьяне. Поступок уважаемого всеми Пьетро Бернардоне не говорит о том, что он понимал тонкую, почти изысканную духовность. И нам не понять, как прекрасно и ново это странное приключение духа, если у нас не хватит юмора и простоты, чтобы увидеть его глазами ничуть не сочувствующего, обычного человека тех времен. В следующей главе я попытаюсь (безуспешно) показать изнутри историю трех церквей и маленькой хижины. Сейчас я хочу показать ее извне. И, кончая главу, я прошу читателя хорошо представить себе и запомнить, как это выглядело. Если судит грубый здравый смысл, а из чувств – только раздражение, какой станет эта история?

Молодого дурака, а может, и негодяя, поймали, когда он обобрал отца и попытался продать то, что должен был охранять. В свое оправдание он

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org) говорит, что какой-то голос велел ему починить какую-то стену. Затем он объявляет, что по сути своей независим от всякого закона, связанного со стражами порядка, и обращается к милости епископа, который тоже вынужден отчитать его и сказать ему, что он не прав. Он раздевается при всем честном народе, швыряет одежду в лицо своему отцу и говорит при этом, что тот ему не отец. Потом бежит по городу и выпрашивает у всех встречных камни, по-видимому, в приступе безумия, связанного со стеной. Конечно, стены чинить нужно, если они треснули, но не тронутым же, не сумасшедшим! Наконец, порочный юноша скатывается на самое дно, буквально копошится в грязи. Вот как видели то, что делал Франциск, почти все его соседи и приятели. Вероятно, они не совсем понимали, на что он живет. По-видимому, он просил не только камень, но и хлеб, но всегда заботился о том, чтобы хлеб был самый черствый, самый черный, а объедки – хуже тех, которые бросают псам. Тем самым он жил хуже нищего, ибо нищий ест лучшее, что может добыть, святой – худшее. Он был готов отказать себе во всем, а это на деле гораздо уродливей, чем утонченная простота, которую вегетарианцы и трезвенники называют простой жизнью. Как относился он к пище, так относился и к одежде. Здесь он тоже довольствовался самым плохим. По одному преданию, он обменялся платьем с нищим и, конечно, охотно обменялся бы с пугалом. По другому преданию, какой-то крестьянин дал ему бурую рубаху, наверное, совсем старую. Обычно у крестьян мало лишней одежды, и они не слишком расположены отдавать ее, пока она хоть на что-нибудь годится. По преданию, он отбросил кушак (может быть, с особым пренебрежением, ибо по моде того времени на кушаке висел кошель) и подпоясался первой попавшейся веревкой, как последний бродяга подвязывает бечевкой штаны. Через десять лет эта случайная одежда стала обычной для пяти тысяч человек, а через сто великого Данте похоронили в ней [65].

## Глава 5 БОЖИЙ СКОМОРОХ

Можно найти немало метафор и символов, чтобы показать, что же произошло в душе молодого поэта из Ассизи. Их даже слишком много, их слишком легко выбрать, но толком не подойдет ничто. Для меня особенно выразителен небольшой и на первый взгляд случайный факт: когда Франциск ходил по городу с мирскими приятелями, словно шествие стихотворцев, они называли себя трубадурами. Когда он вышел в мир с духовными братьями, он назвал их жонглерами Божьими [66].

Я еще не говорил здесь о великой культуре трубадуров, возникшей в Провансе или Лангедоке, и о том, как повлияла она на жизнь и на святого Франциска. О влиянии на жизнь можно сказать много; но я скажу лишь о том, что непосредственно связано с Франциском, и прежде всего о самом важном. Все знают, кто такие трубадуры. Все знают, что в начале средних веков, в XII и на пороге XIII столетия возникла в Южной Франции своя культура, которая грозила затмить возраставшую славу Парижа. Главным ее плодом была поэтическая школа, или, точнее, школа поэтов. Чаще всего они писали о любви, хоть были и сатиры, и размышления. Красота их, запечатленная в истории, многим обязана тому, что они пели свои стихи и часто сами себе подыгрывали на несложных музыкальных инструментах – то были скорее певцы, чем литераторы. Их любовная лирика породила немало прелестных и хитроумных установлений. Была особая наука, которая пыталась привести в систему тончайшие оттенки ухаживания; были Суды любви, где со всей педантичностью и торжественностью судопроизводства разбирались те же щекотливые предметы. Важно иметь в виду одну вещь, которая тесно связана со святым Франциском. Эта высокая чувствительность была, конечно, не совсем безопасна; но не надо думать, что главной опасностью было распутство. В провансальской романтике, как и в печальной провансальской ереси, напротив, было слишком много духовного. Эта любовь не грешила чувственностью – она грешила утонченностью, доходящей до условности. Когда читаешь их стихи, веришь, что дама – самая прекрасная на свете, но как-то не очень веришь, что она вообще на свете жила. Данте кое-чем обязан трубадурам, и ученые споры о его прекрасной даме – прекрасный пример таких сомнений. Мы знаем, что Беатриче не была ему женой, но можем твердо сказать, что она не была ему и любовницей, а некоторые ученые подозревают, что она была вообще просто музой. Я не верю, что Беатриче – аллегория; не поверит и всякий, кто читал «Vita Nova» [67] и был хоть когда-нибудь влюблен. Но если можно усомниться в ее существовании, посудите сами, какими отвлеченными были средневековые страсти. Однако при всей своей отвлеченности чувства эти были очень

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
страстными. Трубадуры любили своих условных дам со всем пылом любовников. Об этом надо помнить, иначе не поймешь Франциска, когда на истинном языке трубадуров он говорил, что дама его прекрасней и милостивей всех, а имя ей – Ницета.

Но сейчас я хочу рассказать о жонглерах, а не о трубадурах, вернее, о том, как мой герой превращался из трубадура в жонглера; и для этого мне придется потолковать еще о средневековых стихотворцах. Жонглер не то же самое, что трубадур, хотя иные трубадуры были и жонглерами. Чаще все-таки это были разные люди, и дело у них было разное. Наверное, часто они ходили парой по свету, как товарищи по оружию или, вернее, товарищи по искусству. Жонглер был, в сущности, скоморохом, шутом, но иногда он был и тем, что мы сейчас называем жонглером. Если этого не знать, не понять легенды о Тайефере-Жонглере, который в битве при Гастингсе пел смерть Роланда[68], подбрасывая и ловя меч, как ловит мяч жонглер на арене. Вероятно, жонглер бывал и акробатом, подобно герою прекрасной легенды «Жонглер Богоматери», который кувыркался и стоял перед статуей Пречистой Девы, и Она похвалила его, утешила, как и вся Ее святая-свита. Трубадур, по всей вероятности, возвышал дух собравшихся серьезными песнями о любви, а потом – для разрядки, для смеха – появлялся жонглер. Какой прекрасный роман можно написать о странствиях такой пары! Во всяком случае, если есть где-нибудь в литературе чистый францисканский дух, то именно в легенде о Жонглере Богоматери[69]. И когда Франциск называл своих последователей жонглерами Божьими, он имел в виду что-то очень близкое к этому скомороху. Где-то между высокой страстью трубадуров и дурачествами жонглеров, словно в притче, истина о святом Франциске. Из двух менестрелей жонглер, несомненно, был вторым, второстепенным. Святой Франциск действительно верил, что открыл тайну жизни и она – в том, чтобы стать слугой, стать вторым, а не первым. В этом служении, в самой его глубине, он обрел свободу, граничащую с беззаконием. Жонглер тоже был беззаконно свободен. Он был свободен, ибо рыцарь был суров; можно стать шутом, когда свободно служишь чести. Когда сравниваешь двух певцов, двух менестрелей, мне кажется, лучше понимаешь, что изменилось в душе святого Франциска, тем более что к поэтам нынешний мир благосклонен. Конечно, в его душе было гораздо больше. Но этот образ поможет нам понять идею, которая, как покажется многим, сама, подобно жонглеру, стоит вверх ногами.

Примерно тогда, когда Франциск исчез в темнице пещеры, он пережил переворот, очень похожий на сальто-мортале, при котором клоун описывает полный круг и снова становится на ноги. Мне приходится употреблять гротескный, цирковой образ, потому что вряд ли можно найти более точное сравнение. Если смотреть вглубь, то был переворот духовный. В пещеру вошел один человек, вышел – другой, словно первый умер и стал привидением или обитателем рая. И отношение его к миру изменилось столь сильно, что тут не подберешь точного сравнения. Он смотрел на мир так необычно, словно вышел из тьмы на руках.

Но если мы вспомним притчу о Жонглере Богоматери, она во многом нам поможет. Теперь все признали, что пейзаж можно увидеть точнее и яснее, если его перевернуть. Некоторые пейзажисты принимают очень странные позы, чтобы с необычной точки посмотреть на свою картину. И вот, перевернутая картина, особенно яркая, четкая и поразительная, немного похожа на мир, который видят каждый день мистики, подобные святому Франциску. Тут мы и подходим к притче, к сути дела. Жонглер из легенды стоял на голове не для того, чтобы яснее и ярче видеть деревья и цветы, он об этом и не думал. Он стоял на голове, чтобы порадовать Божью Матерь. Если бы святой Франциск последовал его примеру – а он был вполне на это способен, – его подвигли бы те же, чисто духовные мотивы. Только потом внутренний свет озарил бы все заново. Вот почему нельзя считать святого Франциска просто романтическим предвестником Возрождения, певцом естественных радостей. Вся его суть, вся его тайна в том, что естественную радость обретишь лишь тогда, когда видишь в ней радость сверхъестественную. Другими словами, он повторил в своей жизни тот исторический процесс, о котором я говорил во второй главе: он очистил себя аскезой и увидел мир заново. Но в его жизни было не только это; параллель с Жонглером Богоматери можно провести и дальше.

Наверное, в той темной пещере или келье Франциск провел самые темные свои часы. От природы он был наделен тем тщеславием, которое противоположно гордыне; тщеславием, которое близко смирению. Он никогда не презирал ближних, и потому не презирал их мнений, и любил, чтобы его любили. И вот, этой части его естества был нанесен тяжкий, почти невыносимый удар. Может быть, когда он вернулся с позором из похода, его называли трусом. Во всяком случае, после ссоры с отцом его называли вором. И даже те, кто относился к нему хорошо, – священник, чью церковь он чинил, епископ, благословивший его, – явно жалели его и над ним подсмеивались. Он остался в дураках.

Всякий, кто был молод, кто скакал верхом и грезил битвой, кто воображал себя поэтом и принимал условности дружбы, поймет невыносимую тяжесть этой простой фразы. Обращение святого Франциска, как и обращение святого Павла, началось, когда он упал с лошади[70]. Нет, оно было хуже, чем у Павла, – он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все знали: виноват он или нет, он оказался в дураках. То была правда, неоспоримая, весомая, словно камень на дороге. Он увидел себя крохотным и ничтожным, как муха на большом окне, увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак», написанное огненными буквами, слово это стало сиять и преображаться.

Нам говорили в детстве, что, если прорыть дырку сквозь Землю и лезть в нее все дальше, придет такое время, когда ты будешь лезть уже не вниз, а вверх. Не знаю, так ли это. Не знаю потому, что мне не случалось прокапывать Землю насквозь, тем более пролезать сквозь нее. Наверное, и я, и читатели – люди обыкновенные, не побывали там, где оказался святой Франциск. Да, и это аллегория. Мы не следовали за Франциском в то диковинное место, где полное унижение преобразуется в полную святость и радость. Я, во всяком случае, дошел только до того падения с романтических баррикад мальчишеской суетности. Здесь я лишь угадываю; может быть, он чувствовал что-то совсем другое. Но что бы он ни чувствовал, это все-таки очень похоже на сказку о человеке, который роет тоннель сквозь землю, идет все ниже и ниже и вдруг, в один таинственный миг, уже лезет вверх. Мы никогда не были так высоко, ибо никогда не были так низко, и потому не вправе говорить, что этого не бывает. Чем честнее и спокойней мы читаем историю человечества, особенно историю лучших людей, тем больше мы убеждаемся, что это бывает. О том, что при этом чувствуют, я и не пытаюсь писать. Извне, для ясности рассказа, напишу: когда Франциск вышел из пещеры откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком. Он был готов стать еще глупее, стать придворным олухом Царя небесного.

Это можно выразить только символом; и образ перевернутого мира снова, хотя и по-другому, пригодится нам. Если человек увидит мир вверх ногами, а все деревья и башни – вниз головой, как в пруду, он яснее почувствует, что такое зависимость (ведь и слово «зависимость» происходит от слова «висеть»). Ему станет особенно ясен текст из Писания о том, что Бог повесил Землю ни на чем[71]. Может быть, святой Франциск видел в одном из своих видений город Ассизи вверх ногами – совершенно, до мелочей, такой же, как в жизни, только перевернутый. Для обычного глаза тяжелая кладка стен и весомость башен говорили о надежности, прочности; но тому, кто видел город вверх ногами, он казался беззащитным и беспомощным. Святой Франциск мог любить свой маленький город так же сильно, как раньше, даже больше – но другой любовью. Он любил каждую черепицу на крутых крышах, каждую птицу на карнизах, но видел их в новом, чудесном свете постоянной опасности и зависимости. Уже не гордясь своим сильным городом, который не сдвинуть никому, он благодарил Всемогущего за то, что город не рухнул в бездну. Он благодарил за то, что вся Вселенная не оборвалась, словно огромная сосулька, и не рассыпалась мириадами звезд. Быть может, так видел и Петр, когда висел на кресте вниз головой[72].

Обычно, хотя и цинично, говорят: «Блажен, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется». Святой Франциск говорил в счастливом смирении: «Блажен, кто ничего не ждет, ибо он обрадуется всему». Он намеренно начал с нуля, с темной пустоты изгойства, и пришел к небывалой радости, научился наслаждаться всем на свете так, как почти никто не наслаждался. Простые, внешние вещи, которым он радовался, сами говорят об этом – ведь нельзя заработать звезду или заслужить закат. Но речь идет о большем, о таком большем, что почти невозможно подыскать слова. Да, чем меньше думаешь о себе, тем больше думаешь о своем счастье и щедрости Божией. Но верно не только это. Ты видишь больше и в самих вещах, если лучше видишь их причину, ибо причина – составная их часть и, конечно, самая важная. Если объяснять вещи, они становятся чудеснее, мы больше дивимся им, меньше их боимся; ведь вещи чудесны, когда они что-то значат, а не тогда, когда они не значат ничего. Пусть бесформенное, или глухое, или злое чудище будет больше гор – его, в полном смысле этого слова, можно назвать незначительным, если оно ничего не значит. Для мистика, каким был святой Франциск, любое чудище значит что-то, оно передает свою весть, говорит на знакомом языке. В этом и смысл преданий – правдивы они или нет – о том, что он, как волшебник, знал язык зверей и птиц. Тайновидец не связан с тайной ради тайны, ибо такая тайна прикрывает грех.

Когда хороший человек становится святым – это истинный переворот. Для хорошего все на свете объясняет и утверждает Бога, а для святого Бог объясняет и утверждает все. Увидев женщину, влюбленный может сказать, что она похожа на цветок, но потом все цветы похожи для него на возлюбленную. И святой, и поэт, глядя на цветок, скажут, казалось бы, одно и то же; скажут

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
правду, но разную. Для поэта радость жизни – причина веры, для святого – скорее плод. А главная разница между ними – вот в этом чувстве чудесной зависимости: для поэта оно подобно молнии, для святого – яркому дневному свету. Если человек в особом, мистическом смысле находится по ту сторону вещей, он видит, как выходят они из Божьего лона, словно дети из теплого дома, а не просто встречает их, как все мы, на путях мира сего. И самое странное – в том, что из-за этого он проще, свободней, беззаботней, радостней нас. Для нас предметы – как герольды, которые возвещают, что мы неподалеку от столицы великого царя. Святой приветствует их запросто, почти развязно. Он зовет огонь братом, воду – сестрой. Так из почти нигилистической пропасти встает то великое, что зовут хвалою; то, чего не поймут, если путают с поклонением природе или с пантеистическим вседовольством. Когда мы говорим, что поэт воспекает всякую тварь, мы просто имеем в виду, что он воспекает все. Но мистик действительно воспекает тварь – то, что сотворено; он воспекает сам переход от небытия к бытию. И снова путь нам пересекает тень моста, который дал священнослужителю его таинственное, древнее имя[73]. Проходя через миг, где нет ничего, кроме Бога, мистик видит то безначальное начало, когда действительно так и было. Он не только ценит все – он ценит ничто, из которого все создано. Он один способен вынести сокрушительную насмешку книги Иова[74], ибо он был там, где Бог полагал основания земли, где ликовали утренние звезды и сыны Божии восклицали от радости. Может быть, теперь вам станет хоть немного понятней, почему францисканцы в лохмотьях, без денег, без дома и – на первый взгляд – без надежды ликовали, как утренние звезды, и восклицали, как Божьи сыны. Ощущение великой благодарности и великой зависимости – не пустая фраза, даже не чувство; это – реальность, и все дело в том, что на этом реальность держится. Это не вымысел, а факт; скорее уж, по сравнению с этим, все факты – вымыслы. Нам не просто кажется, что все мы в каждой мелочи, каждый миг, зависим, как сказал бы христианин, – от Бога, как сказал бы агностик[75], – от природы вещей. Это не иллюзия, это самая главная правда, которую мы прикрываем иллюзиями повседневной жизни. Повседневная жизнь очень хороша, и воображение – штука неплохая, но повседневная жизнь гораздо больше зависит от воображения, чем жизнь мистическая. Тот, кто видел мир на волоске милости Божьей, видел истину, если хотите – неприкрытую. Тот, кто видел свой город перевернутым, видел его правильно. Россетти[76] где-то говорит – горько, но очень справедливо, – что хуже всего атеисту, когда он чувствует благодарность, а благодарить ему некого. Верно и обратное: тому, о ком мы здесь толкуем, благодарность давала самую большую радость, какая только ведома людям. Один замечательный художник гордо утверждал, что подмешал в свои краски мозг; о великом святом мы вправе сказать, что он замешал свои мысли на хвале. Все блага лучше, когда они дары. В этом смысле, без всякого сомнения, метод мистиков очень практичен и помогает жить, но надо непременно помнить и то, что внешний мир всегда отходит у мистика на второй план по сравнению с непреложной зависимостью от Бога. В обычных общественных отношениях есть что-то весомое, в них есть опора, есть уют; что ни говори, они обеспечивают нам здравомыслие и безопасность. Но тому, кто видел мир на волоске, нелегко принять их совсем уж всерьез. Пусть мирская власть и мирская иерархия, даже самая нужная, самая естественная, помогает нам твердо стоять на земле и охраняет нас; тот, кто видел их вниз головой, никогда уже не сможет смотреть без улыбки на власть имущих. В этом смысле прямое видение реальности Божией обесценивает вполне здоровые, важные вещи. Мистик не может прибавить себе росту на локоть[77], но что ему рост? Он уже не станет принимать себя как данность только потому, что его имя записано в церковной книге или в семейной Библии. Собственно, он – вроде сумасшедшего, который, защищая свою сущность, забыл свое место среди людей. «Я звал отцом Петра Бернардоне, теперь я – слуга Господень».

Все эти глубокие материи можно передать только очень коротко и несовершенно; и короче всего будет сказать, что мистик узнает о неоплатном долге. Наверное, покажется парадоксом, если я скажу, что человек обретает радость, когда узнает, в каком он долгу; но путает нас лишь то, что в коммерческом мире должник не очень склонен к ликованию, особенно если долг неизмерим, тем самым – неоплатен. И тут снова может помочь сравнение с любовной историей, где заимодавец разделяет радость должника, точнее, оба должника и оба заимодавцы. Долг и зависимость становятся радостью, когда речь идет о незапятнанной любви. Слово «любовь» слишком легко и часто употреблялось всуе, но здесь без него не обойтись. Оно – ключ ко всем проблемам францисканской морали, которые так озадачивают современного человека, особенно к аскезе. Тот, кто знает, что долг его неоплатен, выплачивает долг непрестанно. Он вечно отдает то, что не в силах отдать,

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org) швыряет в бездну благодарения. Многие думают, что они слишком для этого современны, на самом же деле они слишком плохи. Почти все мы – слишком плохи, чтобы так жить. Мы не так щедры, чтобы стать аскетами, можно даже сказать, не так радушны. Мы не так благородны, чтобы сдаться, разве что в первой любви мелькнет нам потерянный нами рай. Но видим мы это или нет, истина – все в той же загадке: на свете есть одно истинное благо – неоплатный долг.

Если даже та романтическая любовь, которая давала силу трубадурам, выходит из моды и считается вымыслом, куда уж современному миру понять аскетов! Вполне возможно, что какие-нибудь варвары попробуют начисто изгнать рыцарство из любви, как варвары, правящие в Берлине, изгнали его из войны. Если бы им это удалось, люди презрительно удивлялись бы и бестолково спрашивали, что за жадные женщины нагло требовали дани и какое невиданное корыстолюбие побуждало их стремиться к золотому кольцу; ведь спрашивают, почему жестокий Бог требует отречения и жертвы. Потеряв ключ ко всему, что влюбленные зовут любовью, люди не понимали бы, что в любви дают, ибо об этом не просят. Поможет меньшее понять величайшее или не поможет, безнадежно и бесполезно изучать францисканское движение, если вы, как нынче принято, ворчите на мрачный аскетизм. В том-то и дело, что Франциск был аскетом и не был мрачным. Как только его выбило из седла смиряющее и славное видение любви Господней, он ринулся в пост и бдение, как ринулся бы раньше в битву. Он выписал вексель, все отдал кредитору и не оставил себе никакого обеспечения. Он ничего не лишился, он не сковал себя «режимом», не ушел в «суровую простую жизнь». Его самоотречение ничуть не похоже на наш «самоконтроль» – оно положительно, как страсть, как наслаждение. Он упивался постом, как упиваются вином, искал нищеты, как ищут денег. Именно положительность, пылкость его непонятны современным людям, гонящимся за удовольствиями. Однако это исторический факт, а связана с ним еще одна нравственная истина, почти такая же непреложная. Нет сомнений, что этим героическим и непривычным для нас путем он шел с той минуты, как убежал во власнице в зимний лес, до той, когда и в смертной муке хотел лежать на голом полу, чтобы показать, что не был ничем и ничем не владел. Но можно сказать почти с той же уверенностью, что звезды, проходившие над истощенным нищим по своему сияющему пути, наконец увидели в мире, населенном нуждающимся людям, человека поистине счастливого.

## Глава 6 МАЛЕНЬКИЙ НИЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Из этой пещеры, из горнила хвалы и смирения, вышел едва ли не самый сильный и необычный человек в истории. Прежде всего он, несомненно, был личностью, даже героем почти в том смысле, в каком мы говорим о героях книги или пьесы. Он славился не только добротой, но и веселостью, он всегда радовался, шел своим путем и делал то, чего никто другой бы не сделал. Рассказы о нем личностны и неповторимы, как анекдоты о докторе Джонсоне [78] и в какой-то степени о Блейке [79] и Чарлзе Лэме [80]. Передать это можно лишь такой, вроде бы противоречивой фразой: он всегда поступал неожиданно, никогда – неуместно. Никто не угадал бы заранее, что он сделает или скажет; но он делал или говорил, и все понимали, что могло быть только так. Эта неожиданная точность, поражающая уместность отличает его от многих современных ему людей. Мы узнаем все больше и больше о важнейших добродетелях средневековья, но добродетели эти связаны с обществом, не с личностью. Средневековый мир неизмеримо превосходил наш в том, в чем все люди едины, – тогда правильной относились к смерти, к ясному свету разума, к общинной совести, связывавшей сообщества воедино. Словом, обобщения тех времен были и здоровее, и разумнее наших безумных и безбожных теорий; никто не потерпел бы тогда Шопенгауэра [81], презирающего жизнь, или Ницше [82], живущего лишь ради презрения. Но современный мир много тоньше разбирался в вещах, которые людей разъединяют. Мы лучше понимаем оттенки характеров и те тонкие различия, которые определяют частную жизнь. Все, кто способен теперь самостоятельно мыслить, видят, что великие схоласты мыслили на редкость ясно, но ясность эта как бы намеренно бесцветна. Все признали уже, что высшим искусством средневековья было строительство общественных зданий, общинное ремесло архитектуры. Портретная живопись тогда не процветала. Однако друзьям святого Франциска удалось оставить нам портрет, нечто вроде благочестивой и благоговейной карикатуры. Некоторые краски и линии неповторимы до извращения, если можно назвать извращением то, что связано с обращением. Даже среди святых Франциск был чудачком, эксцентриком, хотя чудачество его в том и состояло, что он всегда стремился к центру.

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
И вот я отложу рассказ о первых его приключениях и о создании великого братства, поднявшего столь кроткий мятеж, чтобы дополнить несовершенный портрет. В предыдущей главе я пытался рассказать о том, что происходило; сейчас я попытаюсь рассказать, к чему это привело, кого создало, каким стал Франциск, испытавший первые, создающие личность события. Я попытаюсь описать человека в бурой, подпоясанной вервием одежде, которого встречали на дорогах Италии. Ведь именно он да милость Божия объясняют все, что было после; те, кто видел его, вели себя не так, как те, кто его не видел. Если, узнав о народном смятении, о призывах к папе, о толпах нищих, осаждавших престолы владык, о мире, забродившем заново, о слове «брат», зазвучавшем по всей Европе, вы спросите, почему все это было, мы приблизимся к ответу, хоть косвенно, хоть как-то, услышав один определенный голос и увидев из-под капюшона одно определенное лицо. На свете был Франческо Бернардоне, другого ответа нет. Попробуем же представить себе, что он живет на свете одновременно с нами. Теперь, когда мы, пусть кратко и грубо, рассмотрели его жизнь изнутри, попытаемся увидеть его извне, словно незнакомец идет навстречу по дороге, среди холмов Умбрии, меж олив и виноградников. Франциск Ассизский был худощав той худобой, которая вместе с подвижностью как бы уменьшает рост. Наверное, он был выше, чем казался; биографы называют его человеком среднего роста. Во всяком случае, хилым он не был; судя по тому, сколько ему довелось вынести, он отличался выносливостью. У него было смуглое лицо южанина и темная бородка клинышком – такая, какие выглядывают на картинках из-под капюшона гномов, а глаза светились огнем, сжигавшим его днем и ночью. Когда читаешь о его словах и делах, чувствуешь, что он еще больше, чем все итальянцы, питал склонность к пылкой пантомиме жестов. Если это верно, верно и то, что жесты его больше, чем у всех итальянцев, выражали приветливость и радушие. Обе эти черты – и живость, и вежливость – просто внешние знаки того, что четко отличает Франциска от многих, кого можно было бы счесть похожими на него. Вполне справедливо говорят, что ассизский аскет положил начало средневековому, тем самым и нашему театру. Его, конечно, никак нельзя назвать театральным, он не любовался собой; но связь его с театром не случайна. Эту его сторону легче всего объяснить, если мы рассмотрим то, что обычно считают свойством спокойным и называют любовью к природе. Придется и нам употребить этот термин, хотя он совершенно неверен. Святой Франциск не «любил природу». Кем-кем, а любителем природы он не был. Любители эти страдают каким-то сентиментальным пантеизмом; материальный мир для них зыбок и неверен. В эпоху романтиков, в эпоху Скотта и Байрона, нетрудно было себе представить, как отшельник в руинах часовни (по возможности при свете луны) обретает покой и радость в согласии темных лесов и тихих звезд, размышляя над манускриптом или свитком, богословский смысл которого не совсем понятен автору. Отшельник этот любил природу, как фон. Для святого Франциска ничто не было фоном. Можно сказать, что для него вообще не было «заднего плана» – кроме, пожалуй, той божественной мглы, из которой на зов любви Господней выходят одна за другой твари всех цветов и форм. Все для него было в действии; все было не картиной, а действием. Птица пролетала над ним, как стрела, у нее был смысл, была цель, только не смертоносная – животворящая. Куст останавливал его, как разбойник; и он привечал разбойника, как привечал бы куст. Словом, он не видел леса из-за деревьев. Он и не хотел видеть леса. Он хотел видеть каждый дуб, каждый тополь, ибо тот сын Богу, и потому – брат человеку. Франциск не желал стоять на условных подмостках, где нарисован на заднике лес; можно сказать, что он был слишком деятелен для действия. В его театре подмостки оживали, все выходило на авансцену, все освещалось огнями рампы. Каждый предмет становился персонажем, действующим лицом. Вот почему как поэт он прямо противоположен пантеисту. Он не звал природу матерью; он звал братом вот этого осла, сестрой – вот эту ласточку. Если бы он назвал пеликана дядюшкой, слонику – тетей (а он мог бы), это значило бы, что пеликан и слониха – особые создания, которым творец отвел особое место, а не смутные проявления силы, которая зовется эволюцией. Именно здесь его мистицизм необычайно близок здравому смыслу ребенка. Ребенку ничуть не трудно понять, что Бог создал кошку и собаку, хотя ему не представить, как создают собак и кошек из ничего. Но никакой ребенок не поймет вас, если вы слепите из кошек, собак и других зверей многоногое чудовище и назовете его природой. Святой Франциск был мистиком; в мистификации он не верил. Как мистик, он был смертным врагом тех мистиков, которые растворяют очертания вещей, растворяют суть в «атмосфере». Он был мистиком света и тьмы, но не мистиком сумрака и прямо противоположен тем восточным визионерам, которые бегут в мистику, потому что слишком скептически для материализма. Святой Франциск был реалистом в самом реальном, средневековом смысле, как и все лучшие умы его века, победившего номинализм XII столетия[83]. Вот почему

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
живопись тех времен кажется символической, как геральдика. Для Франциска птицы и звери действительно подобны геральдическим животным не потому, что он считал их мифом, а потому, что он считал их фактом, ярким, несомненным, точным, независимым от иллюзий атмосферы и перспективы. Он видел черную птицу в лазурном поле, серебряную овцу – в зеленом. Но геральдика смирения богаче геральдики гордыни, ибо каждое творение Божие было для него много драгоценней и неповторимей, чем гербы надменных вельмож. Из глубин поношения возник самый пышный титул тех столетий, затмивший лавры Цезаря и корону Ломбардии. Крайности сходятся: маленький нищий человечек, который ставил себя ниже всех и считал ничем, присвоил титул, который венчает тщеславие раззолоченных восточных тиранов, назвал себя братом луны и солнца.

Для Франциска все выделялось, все поражало его, и это очень важно, потому что это показывает, как он жил. Для него все участвовало в действе, участвовал и он. Надо ли напоминать, что он был поэт и понять его можно только как поэта? Но у него было преимущество, которого нет почти ни у кого; в этом смысле он единственный счастливец среди несчастных поэтов Земли. Вся его жизнь была поэмой. Он был не столько певцом, распеваящим свои песни, сколько автором пьесы, играющим главную роль. То, что он говорил, было поэтичней того, что он писал. То, что он делал, было поэтичней того, что он говорил. Путь его через жизнь состоял из сцен, и каждую из них ему удавалось довести до высшей точки. Разговоры об «искусстве жить» звучат в наше время искусственно; но святой Франциск обратил свою жизнь в произведение искусства, хотя совсем об этом не думал. Многие его поступки покажутся нам нелепыми и непонятными. Но это поступки, а не объяснения, и значили они всегда то, что он замыслил. Он запечатлелся так ярко в памяти и воображении человечества еще и потому, что мы всегда видим его как бы на сцене. С минуты, когда он бросил к ногам отца свои одежды, и до минуты, когда он лег крестом на пол, вся его жизнь состояла из непреднамеренных поз и внезапных жестов. Нетрудно заполнить примерами страницы за страницей; но, следуя методу столь краткого очерка, я возьму один типичный пример и остановлюсь на нем немного подробнее, чем позволил бы перечень, надеясь, что все станет тогда яснее. Это случилось в конце его жизни, но любопытным образом связано с началом. Здесь сходятся концы, и снова нас поражает целостность этого романа о вере.

Слова о том, что он брат луны и солнцу, воде и огню, взяты, конечно из его прославленных стихов, которые зовутся Песнью Творения или Гимном Солнцу[84]. Он пел их, странствуя по лугам в самую радостную пору своей жизни, когда возносил к небесам страсть стихотворца. Стихи эти очень характерны для него, и многое о нем мы могли бы узнать, если бы знали только их. Хотя они прямые и простые, как баллада, в них выразилось тонкое чутье о различиях. Посмотрите, к примеру, как точно ощущает Франциск пол неодушевленных предметов, гораздо точнее, чем требует условный грамматический род. Не случайно называл он братом сильный, яростный, радостный огонь, сестрой – чистую, прозрачную и незамутненную воду. Вспомните, что Франциску не помогал и не мешал тот греческий и римский политеизм, застывший в аллегориях, который нередко вдохновлял европейских поэтов и слыхом часто становился для них простой условностью. Худо ли, хорошо ли было его пренебрежение ученостью, ему и в голову не приходило сопоставлять воду с нимфами, пламя – с циклопами или Вулканом[85]. Здесь мы снова видим то, о чем уже говорили: францисканское Возрождение не возрождало язычества; оно начинало и создавало то, о чем язычество забыло. Конечно, это придавало ему особую первоизданность. Святой Франциск создал новый фольклор, но легко отличал в своих сказках волшебников от волшебниц. Он создал мифологию, но никогда не путал богов с богинями. Это точное чутье не единственный пример чутья, столь свойственного поэтам. Благодаря тому же счастливому свойству он обращается к солнцу чуть торжественней, так, как один король мог обращаться к другому, приблизительно: «Господин наш брат». Мы слышим здесь полунасмешливый отзвук того первенства, которое принадлежало солнцу в языческих небесах. Рассказывают, что какой-то епископ, жалуясь, что нонконформисты[86] называют апостола Павла просто Павлом, говорил: «Ну хоть бы называли его мистером Павлом!» Святой Франциск ни за что на свете не стал бы славить или пугаться господина и бога Аполлона[87]; но в своих небесах, подобных детской, он радуется мистеру Солнцу. У него был тот вдохновенный дар, который можно найти только в детских стихах и сказках. Так, в историях о Братце Лисе и Братце Кролике человека с неясным, но здравым почтением называют «Господин Человек». Эта песнь, полная юношеского восторга и детских воспоминаний, проходит через всю его жизнь, как припев, и непрестанно прорывается в речи. Может быть, в последний раз ее особый язык проявился в сцене, которая очень трогает меня и, во всяком случае, ясно показывает ту приверженность к жесту

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
и к действию, о которой я говорю. Такие впечатления – дело впечатлительности и в этом смысле дело вкуса. Бессмысленно спорить о них, ведь в том и суть, что они – за пределами слов, а если слова и встретятся, куда важнее почти ритуальное действие, скажем – благословение или удар. Возьмем самый высокий пример: «Вы все еще спите и поживаете?»[88] Здесь есть то, чего никак не выразишь, словно бы мановение руки, чья могучая тень усугубляет тьму Гефсимании. Однако бывают люди, которые пытаются расширить историю Страстей.

Святой Франциск умирал. Мы могли бы сказать, что он был старым к той поре, когда произошел этот случай, но состарился он рано, ибо умер, не дожив до пятидесяти, изнуренный борьбой и постом. Когда он спустился с высот немислимой аскезы и немислимых откровений Альверно, он был обречен. Я расскажу позже, что не только болезнь и слабость укоротили его жизнь. Незадолго до того рухнуло важнейшее его дело – он не смог положить конец крестовым походам, обратив сразу весь мусульманский мир. Еще больше страдал он от того, что в собственном его ордене проявлялись признаки компромисса и возникал практический, а то и политический дух. Последние свои силы он потратил на споры. И тут ему сказали, что он слепнет. Если я хоть немного показал вам, что значили для него красота и слава земли и небес, геральдическая яркость и четкость птиц, зверей и цветов, вы поймете, чем была для него слепота. Но лечение могло оказаться страшнее самой болезни. Ему посоветовали (по всей вероятности, неверно) прижечь живой глаз, не унимая боли, раскаленным докрасна железом. Вряд ли могли быть хуже те пытки, которым он завидовал, читая Жития, и которых он тщетно искал в Сирии. Когда кочергу вынули из печи, он встал, вежливо поклонился и сказал: «Брат мой Огонь, Бог создал тебя прекрасным, и сильным, и полезным. Прошу, будь милостив ко мне!»

Если и впрямь существует «искусство жить», это, по-моему, один из его шедевров. Немногим поэтам дано было вспомнить свои стихи в такую минуту, тем более их исполнить. Даже Уильям Блейк растерялся бы, если бы, читая прекрасные строки «Тигр, о, тигр, светло горящий», он увидел большую тигриную голову в окне. Он подумал бы, прежде чем поклониться, особенно же прежде чем дочитать тигру стихи. Когда Шелли[89] хотел превратиться в облачко или листок, гонимый ветром, он мог бы выказать удивление, обнаружив, что медленно кувыркается в воздухе высоко над морем. Даже Китс[90], знавший, что дни его сочтены, мог бы растеряться, убедившись в том, что источник вдохновения действительно содержит усыпляющее снадобье и в полночь он умрет без страданий. Франциска никто не усыплял; Франциска ждали страдания. Но прежде всего он подумал о стихах своей молодости. Он вспомнил время, когда огонь был ярким и веселым цветком в Божьем саду. И когда тот вернулся орудием пытки, Франциск приветствовал его как старого друга и назвал его дружеским, нет, крестным именем.

Это только один случай, а было их много. Я выбрал этот отчасти потому, что здесь так отчетлива тень жеста, театрального жеста южан, отчасти же потому, что жест этот вежливый, а сейчас я хочу поговорить о вежливости. Народное чутье святого Франциска и его любовь к идее братства никогда не понять, если мы представим себе то, что зовут панибратством, хлопаньем по плечу. Очень часто от врагов, слишком часто от друзей демократии мы слышим, что панибратство от нее неотделимо. Равенство понимают как равную невежливость, в то время как оно должно означать, что все люди одинаково вежливы друг к другу. Как бы то ни было, святой Франциск Ассизский искал равенства, основанного на вежливости.

Даже в волшебной стране его мечтаний о цветах, зверях и неодушевленных предметах он сохранял безукоризненную вежливость. Один мой друг говорил, что кто-то способен попросить прощения у кошки. Франциск действительно попросил бы прощения у кошки. Однажды, собираясь проповедовать в лесу, где пели и чирикали птицы, он вежливо обратился к ним: «Сестрицы мои птички, если вы сказали, что хотели, дайте сказать и мне». И все птицы смолкли, чему я охотно верю. Поскольку цель моя – писать понятно для обычных нынешних людей, я поговорю особо о чудесной силе, которой, вероятней всего, обладал святой Франциск. Но и помимо чудесных сил такие внимательные и добрые к животным люди очень часто могут на них влиять. Влияние святого Франциска всегда выражалось в утонченно вежливой форме. Много раз то были символические шутки, благочестивые пантомимы, призванные подчеркнуть, что он не только любит, но и глубоко почитает Бога в любых Его творениях. В этом смысле он всегда был готов просить прощения не только у кошки или у птиц, но и у стула, на который сядет, и у стола. Все, кто ищет случая посмеяться над безобидным безумием, легко могли счесть его одним из тех, кто кланяется каждому столбу или снимает шляпу перед деревом. Так проявлялось его безукоризненное чутье; все жесты его значимы. Часть своего великого урока он излагал на каком-то Божьем языке глухонемых. И если он

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org) был безукоризненно вежлив с предметами, вежливость его доходила до крайности в главном деле его жизни, в общении с человечеством, а точнее, с людьми.

Я говорил, что святой Франциск намеренно не видел леса из-за деревьев. Еще вернее и важнее, что он не видел толпы из-за людей. Этого истинного демократа отличает от демагога то, что он никогда не обольщался иллюзией «воздействия на массы». Любил он сказочных чудищ или нет, он никогда не видел перед собою многоголовой гидры. Он видел образ Божий, повторенный много раз и всегда неповторимый. Для него человек всегда был человеком и не терялся в густой толпе, как не потерялся бы на равнине. Он почитал всех, другими словами – он не только любил, он и уважал каждого. Своей исключительной силой он обязан тому, что всякий, от папы до нищего, от султана в расшитом шатре до последнего вора в лесу, глядя в темные, светящиеся глаза, знал и чувствовал, что Франческо Бернардоне интересуется именно им, именно его неповторимой жизнью от колыбели до могилы. Каждый верил, что именно его он принимает в сердце, а не заносит в список, политический или церковный. Это нравственное и религиозное воззрение можно выразить только вежливостью. Разглагольствованиями его не выразишь, ибо это не абстрактный энтузиазм; не выразишь и снисходительной мягкостью, ибо это не просто жалость. Нужно одно – особая манера, которую мы вправе назвать хорошими манерами. Мы можем сказать, если хотим, что в предельной простоте своей жизни святой Франциск позволил себе роскошь – манеры придворного. Но при дворе – один король и сотни придворных, а он был придворным для сотни королев, ибо относился к толпе как к сообществу коронованных особ. Конечно, только так можно затронуть в человеке то, к чему стремился воззвать он. Здесь не помогут ни золото, ни даже хлеб – все мы знаем, что щедрость слишком часто граничит с пренебрежением. Не поможет и время, и даже внимание – филантроп и приветливый бюрократ уделят нам и то и другое с куда более холодным и страшным пренебрежением в душе. Никакие планы, предложения, преобразования не вернут сломленному человеку уважения к себе и чувства равенства. Особый наклон головы, особый жест – вернет. Именно так ходил среди людей Франциск Ассизский; и вскоре оказалось, что в жесте этом, в наклоне есть особая сила, как бы чары. Только надо помнить, что он ничуть не притворялся, не играл, он был скорее смущен. Представьте себе, что он быстро идет по миру с тем нетерпеливым вежеством, с каким человек поспешно и послушно преклоняет на ходу колено. Живое лицо под бурым капюшоном говорило о том, что он всегда спешит куда-то; не только следит за полетом птиц, но и следует за ними. Он двигался – и основал движение, совершил переворот, ибо то, к чему я сейчас перейду, подобно извержению вулкана или взрыву, с которым вырвались наружу силы, копившиеся десять столетий в арсенале монашества. В хорошем, а не в дурном смысле можно сказать: что собрал Бернард[91], расточил Франциск; но ведь там, где речь идет о делах духовных, зерно, лежащее в житницах, рассыпается по земле семенами. Слуги Божьи были осажденным гарнизоном, стали армией в наступлении. Дороги мира сего словно гром сотрясал их шаг, а далеко впереди от непрестанно растущего воинства шел человек и шел так же просто, как шел он в зимнем лесу, когда гулял один.

## Глава 7 ТРИ ОРДЕНА

Говорят, что двое – это общество, а трое – нет. Есть смысл и в другой поговорке: «Трое – это общество, а четверо – нет», доказанной многими историческими и литературными героями, бродившими по трое, как три мушкетера у Дюма или три солдата у Киплинга[92]. Но если мы употребим слово «общество» в более широком смысле, можно сказать, что четверо – общество, а трое нет. Трое – три отдельных человека, с четвертым возникает призрак толпы. И тень эта упала на маленький скит в Порциункуле, когда пришел некий Эгидий, по всей вероятности, бедный ремесленник. Он легко ужился и с купцом, и со священником, которые уже стали сотоварищами Франциска, но с его приходом маленькое братство перешло невидимую границу. С тех пор оно могло расти до бесконечности, во всяком случае границы его навсегда стали открытыми. Может быть, именно в то переходное время Франциску снова приснился вещий сон – голоса говорили с ним на всех языках: по-французски, по-итальянски, по-английски, по-испански, по-немецки славили Бога, словно пришла новая Пятидесятница, удалось построить Вавилонскую башню[93]. Раньше, чем рассказать, как он справился на первых порах со своим быстро растущим содружеством, надо представить хотя бы примерно, каким он его мыслил. Он не звал своих последователей монахами, и совсем не ясно,



Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)

Разница между обычными монахами и братьями была именно в практической пользе, особенно в быстроте. Старым сообществам с точными правилами и непременной оседлостью мешало то, что мешает любому домовладельцу. Как бы просто они ни жили, им было нужно столько-то келий, столько-то кроватей, хотя бы столько-то места. Но с тех пор, как можно было стать братцем, пообещав есть ягоды при дороге или просить объедки у кухонных дверей, спать под забором или терпеливо сидеть у порога, экономических помех не осталось. Теперь одержимых чудаков могло стать сколько угодно. Надо помнить к тому же, что движение развивалось так быстро еще и благодаря особому, демократическому оптимизму, который был одной из главных черт святого Франциска. Самая аскеза его – триумф оптимизма. Франциск требовал так много от человеческой природы не потому, что он ее презирал, а потому, что он доверял ей. Он ждал многого от обычных людей, которые пошли за ним, но он ждал многого и от людей обычных, к которым их послал. Он просил пищи у мирян так же доверчиво, как просил поста у монахов. Он всегда рассчитывал на гостеприимство, потому что считал каждый дом домом друга. Он действительно любил и почитал обычных людей и обычные вещи; мы можем даже сказать, что он послал необычных людей лишь для того, чтобы они поддержали обычных в их обычности.

Все это можно объяснить точнее и лучше, если мы рассмотрим на редкость любопытное сообщество, третий орден, призванный поддерживать обычность обычных с весьма необычной пылкостью. Речь идет о смелом и простом замысле – расселить духовное воинство среди людей, действуя не силой, но убеждением, точнее, убеждая бессилием. Франциск доверял людям, и этот лестный для людей опыт увенчался полным успехом. Так было с ним всегда; он обладал особым тактом и со стороны мог показаться удачником, потому что бил прямо в цель, как молния. В его отношениях с людьми очень много примеров этого бестактного такта, этих неожиданных ударов в самую сердцевину. По преданию, один молодой братец метался между мрачностью и смирением, как и многие юноши, которые вбили себе в голову, что их герой ненавидит или презирает их. Легко представить себе, с каким тактом мирские дипломаты копались бы в трудностях и настроениях, как осторожно врачевали бы психологи столь щекотливый недуг. Франциск подошел к юноше – который, конечно, молчал, как могила, – и сказал: «Не береги себе душу, я тебя очень люблю, ты – один из самых мне близких. Да ты и сам знаешь, что достоин общества моего и дружбы. Вот и приходи ко мне, когда хочешь, и через дружбу научись вере». Точно так же, как с мрачным юношей, говорил он со всеми. Он всегда шел прямо к делу, всегда был и правее, и проще собеседника; и это обезоруживало так, как ничто не могло бы обезоружить. Он был лучше других, он делал людям добро, и все-таки его не возненавидели. Люди вошли в церковь через новую, низенькую дверь и через дружбу научились вере.

Еще тогда, когда в Порциункуле было так мало народу, что все могли уместиться в одной комнате, святой Франциск решился на первый, самый важный, даже отчаянный шаг. По преданию, во всем мире было только двенадцать францисканцев, когда он повел их в Рим, чтобы основать орден. Казалось бы, не стоит обращаться так далеко, к высшей власти; помогли бы и власти пониже, местный епископ или священники. Вероятно, многие считали, что не совсем удобно беспокоить верховное судилище церкви из-за того, как называться двенадцати случайным людям. Но Франциск был упорен, он был слеп, и эта сияющая слепота особенно характерна для него. Он довольствовался малым, он любил все маленькое и никогда не чувствовал, как мы, разницы между маленьким и большим. Он не знал наших мерок и наших пропорций. Иногда его мир напоминает весело разукрашенную средневековую карту, но снова вырывается из нее в другие измерения. Говорят, он собирался идти к императору, восседающему среди своих воинств под орлом Священной Римской империи, чтобы спасти жизнь нескольким птичкам. Он был вполне способен говорить с пятьюдесятью императорами из-за одной птички. Он вышел с двумя братьями, чтобы обратить мусульманский мир; он вышел с одиннадцатью, чтобы папа создал новый мир монашества.

Святой Бонавентура[96] говорит, что Иннокентий III[97], великий папа, гулял по террасе Латеранского храма, обдумывая, по всей вероятности, серьезнейшие политические проблемы, сотрясающие его государство, когда перед ним внезапно возник человек, которого он принял за пастуха. По-видимому, он постарался избавиться от него поскорее; может быть, он решил, что пастух безумен. Во всяком случае, он больше о нем не думал до ночи, а ночью увидел странный сон. Ночью, говорит славный биограф Франциска, он увидел, что большой древний храм, на чьих прочных террасах он гулял в такой безопасности, ужасно накренился, вот-вот обвалится, словно все его башни и купола качаются перед землетрясением. И тут он заметил, что, словно живая кариатида, храм держит человек, а человек этот – оборванный пастух или крестьянин, от которого он отвернулся. Правда это или лишь образ, мы видим,

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
с какой внезапностью и простотой обрел Франциск внимание и покровительство Рима. По-видимому, первым его другом стал кардинал Джованни ди Сан-Паоло, который защищал его замысел перед специально созванным конклавом. Стоит заметить, что кардиналы в основном сомневались, не слишком ли суров устав нового ордена, – католическая церковь всегда предостерегает от излишней аскезы и связанных с нею зол. Может быть, под словом «суровость» они подразумевали «опасность», ведь новый орден был все же опаснее старых. Хотя бы в одном смысле братец был противоположен монаху. Старый монастырь хорош тем, что в нем спрячешься не только от зла, но и от забот. В этих убежищах и родились труды, за которые мы никогда не сможем отблагодарить монахов. Монахи сохранили древних классиков, положили начало готике, создали науку и философию, дали нам миниатюру и витраж. Все дело в том, что о насущных нуждах они могли не печься. Пускай питались они очень скудно, но всегда знали, что без еды не останутся. А братец никогда не знал, поест ли он вообще. В его жизни, как в жизни цыган и бродяг, было то, что зовется романтикой. Была в ней и постоянная угроза, как в жизни бродяги или поденщика. И кардиналы XIII столетия пожалели людей, по собственной воле идущих туда, где бедняков XX века держат насильно день за днем. Кардинал защищал их приблизительно так: «Может быть, их жизнь сурова, но в конце концов это именно та жизнь, к которой призывает Евангелие. Идите на компромиссы, когда мудрость или милость требуют их от нас, но не говорите, что люди вообще не должны, хоть им и хочется, жить по-евангельски». Мы еще увидим, как верен этот довод, когда посмотрим на ту, высшую часть жития святого Франциска, которую можно назвать подражением Христу. Выслушав спорящих, папа признал орден и обещал весомую поддержку, если движение разрастется. Возможно, что Иннокентий, человек умный, почти не сомневался в этом; если он и сомневался, сомнения вскоре рассеялись. Следующая глава в истории ордена – это просто рассказ о том, как толпы людей стекались под его знамена. Я уже говорил, что по самой своей природе он мог расти гораздо быстрее, чем старые ордена. Возвращение двенадцати первых братцев стало, наверное, триумфальным шествием. Говорят, что все жители – мужчины, женщины, дети – бросили работу, деньги, дома и прямо, как были, пошли за братцами, умоляя принять их в воинство Господне. Согласно преданию, именно тут у святого Франциска забрезжила мысль о третьем ордене, который дал бы людям возможность участвовать в его деле, не жертвуя семьей, привычкой и обычной жизнью. Так это или нет, рассказ хорошо выражает тот мятежный дух, который охватил Италию. Все вышли в путь, братцы кишели повсюду, и каждый, кто их встречал на больших и проселочных дорогах, знал, что его ждет духовное приключение. Первый орден святого Франциска вступил в историю. В этом несовершенном очерке я расскажу кратко о втором ордене и третьем, хотя они основаны позже, в разное время. Вторым был орден кларисс, и возник он, конечно, благодаря прекрасной дружбе святого Франциска со святой Кларой. Нет на свете повести, которая так сильно озадачивала бы даже сочувствующих ученых, исповедующих иную веру, – ведь нигде нельзя применить с таким успехом простую поговорку, о которой я говорил. Ученые не могут себе представить, что любовь небесная столь же реальна, как любовь земная. Если бы они это представили, загадка решалась бы легко. Семнадцатилетняя девушка Клара из знатной ассизской семьи страстно захотела стать монахиней, и Франциск помог ей бежать из дому. В сущности, он помог ей бежать в монастырь, не посчитавшись с родителями, как сам он не посчитался с отцом. Все это было похоже на обычный романтический побег – она вышла через дыру в стене, пересекла лес, и в полночь ее встретили с факелами. Даже миссис Олифант[98] в хорошем и тонком исследовании о святом Франциске говорит, что «случай этот мы навряд ли вспомним с сочувствием». Скажу одно: если бы это было романтическое бегство и девушка стала бы возлюбленной, а не монашкой, весь современный мир счел бы ее героиней. Если бы Франциск поступил с Кларой, как Ромео – с Джульеттой, все бы их поняли. Дело не в том, что Кларе было семнадцать, – Джульетте было четырнадцать. В средние века девушки рано выходили замуж, а юноши рано бились в битвах. Семнадцатилетняя девушка в XIII веке вполне отвечала за себя. Без всякого сомнения, святая Клара прекрасно знала, что делает. Современные романтики очень снисходительны, когда родителей обижают во имя романтической любви. Они знают, что романтическая любовь реальна; и не знают, что небесная любовь ничуть не призрачней. Немало можно сказать в защиту родителей Клары; немало можно сказать в защиту Петра Бернардоне. Многие можно сказать и в защиту Монтеки и Капулетти, но современный мир не думает защищать их. Если мы примем хоть на минуту как гипотезу то, что для святого Франциска и святой Клары было абсолютной истиной; если мы поверим, что духовная связь еще прекраснее связи влюбленных, мы увидим, что побег святой Клары – просто роман со счастливым концом, а святой Франциск – святой Георгий[99] или странствующий рыцарь, который помог ему так кончиться. Миллионы мужчин и

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
женщин считали реальной такой связью, и не вправе считать себя философом тот, кто не сочтет ее хотя бы возможной.

В конце концов, почему возмущаются своеволием святой Клары теперь, когда так любят эмансипацию женщин? Клара в самом прямом смысле слова пошла своим путем. Она выбрала ту жизнь, которую хотела, а не ту, к которой принуждали ее строгие родители и социальные условности. Она основала небывалое женское движение, которое до сих пор глубоко воздействует на мир, и место ее – среди великих женщин. Неизвестно, была бы она такой великой или такой полезной, если бы сбежала с возлюбленным или просто осталась дома и вышла замуж по расчету. Это, мне кажется, может признать любой разумный человек, глядя со стороны; а я нисколько не собираюсь всматриваться в это изнутри. Мало кто достоин написать хоть слово о святом Франциске, но еще труднее найти слова, чтобы описать его дружбу со святой Klarой. Я часто замечал, что такого рода тайны лучше всего выражать символически, молча, позой или действием. И я не знаю лучшего символа, чем тот, который так счастливо нашел народ в своем предании: однажды ночью жители Ассизи подумали, что деревья и хижины загорелись, и побежали их тушить. Но они увидели, что все тихо, а за окном святой Франциск преломляет хлеб со святой Klarой и говорит с ней о любви Божьей. Трудно найти лучший образ для предельно чистой и духовной любви, чем светло-алое сияние, окружающее двух людей на холме; чем пламя, не питающееся ничем и воспламеняющее самый воздух.

Если второй орден был памятником неземной любви, то третий стал столь же прочным памятником весьма весомому сочувствию к земной любви и земной жизни. Эту черту католичества – связь мирских движений с движениями духовными – очень плохо понимают протестантские страны и отвергают протестантские историки. Видение, о котором мы столь несовершенно рассказываем, было даровано не только монахам и даже не только братцам. Оно вдохновляло бесчисленные толпы обычных женатых людей, которые жили точно так же, как и мы, только совсем иначе. Утренний свет, которым Франциск озарил и землю, и небо, тайно затеплился под многими кровлями, во многих комнатах. Такие общества, как наше, ничего не знают о том, как тянулись люди к францисканству. Мы ничего не знаем о неизвестных последователях неизвестного нам дела; еще меньше мы знаем об известных его последователях. Если мимо нас на улице пройдет шествием третий орден святого Франциска, знаменитости поразят нас больше, чем незнакомцы. Нам покажется, что внезапно раскрылось могущественнейшее тайное общество. Проедет Людовик Святой[100], великий рыцарь, праведный судья, в чьих руках весы правосудия всегда склонялись в пользу бедных. Проедет Данте в лавровом венке, в буром, светящемся изнутри одеянии с пурпурной каймой – тот, кто среди страстей и страданий пел хвалу Госпоже своей Бедности. Много славных имен – от очень дальних до самых недавних – откроется нам: Гальвани[101], например, отец электричества, волшебник, вызвавший к жизни столько новых созвездий и созвучий. Если святой Франциск не доказал своей жизнью, что любит обычных людей, может быть, это докажет такая разнородная процессия.

Но жизнь его доказала это, может быть, – в более тонком смысле слова. Один из современных ему биографов заметил, что его естественные страсти были на удивление нормальны и даже благородны – его искушали вещи, вполне позволительные сами по себе, но непозволительные для него. Никому на свете не подходило меньше слово «сетовать»; можно назвать его романтиком, но для таких чувств ему недоставало чувствительности, недоставало тоски. Нрав его был слишком пылок, чтобы раздумывать над тем, достаточно ли быстро он бежит, хотя, конечно, он каялся в том, что не бежит еще быстрее. Однако подозревают, что, когда он боролся с дьяволом, как борется всякий человек, достойный называться человеком, тот искушал его здоровыми желаниями, которые Франциск похвалил бы в ком угодно; желаниями, нимало не похожими на гнусно размалеванное язычество, засылавшее своих нечистых посланцев в пустыню святого Антония[102]. Если бы святой Франциск что-нибудь себе разрешил, это были бы очень простые радости. Он стремился к любви, а не к разврату и не мыслил ни о чем более греховном, чем свадебные колокола. По странному преданию, борясь с бесом, он лепил снежных баб и кричал: «Вот моя жена, вот мои дети!» По тому же преданию, рассказывая, что и он не огражден от греха, он сказал: «У меня еще могли бы быть дети», как будто о детях, а не о женщине он мечтал. И если это правда, это кладет последний штрих к портрету. В нем было так много утреннего, так много детского и чистого, что даже его зло было добром. О других, не о нем сказано, что сам свет, который в них, – тьма[103]; об этой сияющей душе можно сказать, что сами тени ее из света. Зло являлось к нему только запрещенным благом, и только таинство могло искушать его.

Ни один человек, обретший свободу, которую дает вера, не впадет в те безысходные крайности, в какие впали поздние францисканцы, когда попытались сделать из святого Франциска второго Христа, давшего новейший завет. Если они правы, теряет смысл все, что он делал, ибо никто не станет благоговейно чтить соперника или изо всех сил подражать тому, кого задумал свергнуть. Позднее я покажу и подчеркну, что только прозорливость первосвященников спасла великое движение для мира и Вселенской Церкви и не дала ему выродиться в одну из узких сект, которые зовутся новой религией. Я ни в коей мере не собираюсь обоготворять францисканцев. Христос и святой Франциск отличались друг от друга, как отличаются Создатель и создание; и непомерности этого различия ни одно создание не чувствовало лучше, чем сам святой Франциск. И все же очень верно, очень важно, что Христос был образцом для святого Франциска, что личные их свойства и события их жизни во многом странно совпадали; а главное – что по сравнению с нами святой Франциск поразительно близок к своему Учителю, хотя только являет Его, только отражает, словно точнейшее в мире зеркало. Истина эта наводит на мысль о другой, которую редко замечают, хотя именно она показывает, почему наша Церковь так чтит Христа.

В одной из своих блестящих полемических работ кардинал Ньюмен[104] обронил фразу, которая может служить примером смелости и логической ясности католичества. Рассуждая о том, как легко принять истину за нечто противное ей, он говорит: «Если Антихрист похож на Христа, то и Христос, наверное, похож на Антихриста». Религиозному чувству неприятен конец этой фразы, но опровергнуть ее может лишь тот, кто сказал, что Помпей[105] и Цезарь очень похожи, особенно Цезарь. Надеюсь, вы огорчитесь меньше, когда я скажу то, что многие забыли: если святой Франциск был похож на Христа, Христос, наверное, был похож на святого Франциска. Сравнение это очень полезно, и вот чем: если кто-то обнаружит загадки и странности в галилейских событиях и найдет разгадки в событиях ассизских, он увидит, что тайна вручена определенной, вот этой традиции. Он увидит, что ларец, запечатый в Палестине, смогли открыть в Умбрии, ибо Церкви дана власть ключей[106]. Всегда считалось естественным рассматривать святого Франциска в свете Христа, но мало кто догадался рассмотреть Христа в свете святого Франциска. Может быть, «свет» – не самый лучший образ; что ж, ту же истину выразит образ зеркала. Святой Франциск – зеркало Христа, как луна – зеркало солнца. Луна гораздо меньше солнца, зато гораздо ближе к нам; она не такая яркая, зато видна лучше. В этом же самом смысле святой Франциск – ближе к нам, он просто человек, как и мы, и нам легче его представить. Само собой понятно, что тайны в нем меньше, и потому слова его не загадочны. Собственно, многие, даже не очень важные слова, загадочные в устах Христовых, покажутся хотя и странными, но вполне естественными для святого Франциска. Незачем напоминать, что Христос жил до христианства; но из этого следует, что Он жил в языческом мире. Я хочу сказать, что среда, в которой Он действовал, не была христианской, то была среда античной империи, и по одному этому она понятна нам куда меньше, чем среда, в которой действует итальянский монах. Даже сведущий комментатор вряд ли может определить, насколько обычны или необычны Евангельские притчи, какие воспринимались как обыденный рассказ, какие – как немыслимый вымысел. Среда – чужая, древняя, и потому многие речения подобны иероглифам, их можно толковать на самый странный лад. Но если мы переведем почти каждое из них на говор Умбрии, они легко уложатся в историю святого Франциска; конечно, они останутся странными, но станут намного понятней. Немало споров породили слова о лилиях, не пекущихся о завтрашнем дне[107]. Скептики то упрекают нас в измене евангельскому идеалу, то разъясняют, что сохранить ему верность невозможно. Я не собираюсь сейчас обсуждать проблемы этики или экономики; я просто замечу, что даже тот, кого ставят в тупик слова Христа, ничуть не удивится, если их скажет святой Франциск. Никто не удивится, что он сказал: «Прошу вас, братцы, будьте мудры, как брат наш одуванчик и сестра маргаритка, ибо они не пекутся о завтрашнем дне, а у них короны, как у королей, и властителей, и у Карла Великого во всей его славе». Еще больше огорчает и озадачивает совет о щеке и о воре, укравшем плащ[108]. Этот текст любят приводить как довод против войны, о которой вроде бы здесь нет ни слова. Если уж понимать эти слова буквально и применять ко всему на свете, скорее из них можно вывести, что плох закон, греховна власть. Но преуспевающих миротворцев гораздо больше ужасает насилие солдат над могущественным чужеземцем, чем насилие полицейских над бедным соотечественником. Однако и здесь замечу, что парадокс становится понятным, если мы представим себе, что святой Франциск говорит это францисканцам. Никто не удивится, если брат Юнипер

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
побежит за вором, который украл у него плащ, и попросит забрать рубаху, ибо так велел святой Франциск. Никто не удивится, если святой Франциск скажет молодому дворянину, который хочет вступить в его братство, что не стоит бежать за разбойником, чтобы отобрать свои башмаки, а лучше побежать за ним и подарить ему чулки. Мы можем любить, можем и не любить такой дух, но мы прекрасно его чувствуем. Мы узнаем интонацию, простую и чистую, как пение птицы, – интонацию святого Франциска. Есть тут и кроткая насмешка над самой идеей собственности, и надежда обезоружить врага великодушием, и озорное желание ошарашить своекорыстных, и радость безупречной последовательности. Но что бы тут ни было, нам нетрудно узнать это, если мы хоть что-то читали о братцах и о том, что началось в Ассизи. Если именно этот дух породил столь странные слова в Умбрии, тот же дух мог породить их в Палестине. Если мы слышим ни на что не похожую интонацию и ощущаем неопишуемый привкус в двух разделенных временем явлениях, естественно вывести отсюда, что более отдаленное от нас похоже на более близкое. Если святой Франциск вполне мог говорить такое францисканцам, разумно предположить, что Христос тоже говорил это содружеству верных, чье дело подобно делу братцев. Другими словами, вполне естественно считать, как и считает Церковь, что советы, ведущие к совершенству, были частью особого замысла, призванного поразить и разбудить мир. Во всяком случае, важно помнить, что, когда мы видим, как одни и те же слова с удивительной точностью повторяются через тысячу с лишним лет, приходится поверить, что породило их одно и то же, а потому – нужна преемственность, нужен авторитет, восходящий к тем событиям, где он проявился впервые. Многие философские системы повторяют и будут повторять общие места христианства. Но только Церковь может заново поразить мир его парадоксами. *Ubi Petrus ibi Franciscus*[109].  
Если мы поймем, что Франциск подражал своему Создателю в чудачествах милосердия, мы должны понять, что Ему же он подражал в чудачествах самоотречения. Конечно, притчи о кротости стали возможны, потому что он внимательно читал Нагорную проповедь. Но еще внимательнее он читал молчаливую проповедь на другой горе, на Голгофе. Он говорил чистую правду, когда сказал, что в посте или в унижении он просто пытается хоть чем-то уподобиться Христу; и мне снова кажется: если мы видим одну и ту же истину в двух далеких звеньях церковного Предания, значит, Предание сохранило истину. Это важно, и это касается того, что было потом с Франциском. Чем яснее он видел, что дело его удалось, что первая опасность миновала, орден создан, тем сильнее хотел он подражать Христу. С тех пор как у него появились последователи, он сравнивал себя не с теми, для кого он был учителем; он все больше и больше сравнивал себя с Тем, для Кого он только слуга. Скажу мимоходом, что это одна из моральных и даже практических выгод аскезы. Всякая другая исключительность легко приведет к высокомерию. Святой не может смотреть свысока, он всегда в присутствии Вышнего. В наших избранных духа плохо то, что они жрецы без Бога. Но служение, которому отдал себя святой Франциск, все больше и больше уподоблялось для него Страстям и Распятию. Он чувствовал все сильнее, что недостаточно страдал и потому недостойн даже издали следовать за своим Страдающим Богом. Эту часть его жизни можно назвать исканием мученичества.  
Отчасти поэтому он задумал замечательное дело – побег к сарацинам, в Сирию. Были у него и другие причины, которые стоят того, чтобы разобраться в них получше, чем разбирались до сих пор. Он хотел положить конец крестовым походам в двух смыслах – и завершить их, и прекратить, только не силой, а словом, не материально, а духовно. На современного человека трудно угодить: мы называем путь Готфрида жестоким, а путь Франциска – безумным, то есть обвиняем в безнравственности практический выход, а потом объявляем непрактичным выход нравственный. Но мысль святого Франциска была совсем не безумна и не так уж непрактична, хотя, может быть, он представлял себе все слишком просто, потому что знал меньше, чем его великий наследник Раймонд Луллий[110], которого, правда, ничуть не лучше поняли. Франциск, как всегда, пошел своим, неповторимым путем. Мысль его была проста, как чуть ли не все его мысли. Но глупой она не была; многое можно сказать в ее защиту, и она могла осуществиться. Он просто думал, что лучше создавать христиан, чем убивать мусульман. Если бы ислам обратили в христианство, мир стал бы не в пример более счастливым и единым; во всяком случае, очень многих войн новой истории просто бы не было. Не так уж глупо предположить, что этого можно было добиться миром, при помощи миссионеров, готовых к мученичеству. Церковь тогда уже завоевала так Европу, значит, могла завоевать так и Азию, и Африку. Все это верно; но для святого Франциска мученичество было не только средством. Оно и само было целью, ибо последней целью для него была близость к Христу. Сквозь все его беспокойные дни проходит припев: «Я мало страдал, я мало отдал, я недостойн и тени тернового венца». И, бродя по долинам мира, он искал холм, очертанием похожий на череп[111].

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Незадолго до того, как он уехал на Восток, весь францисканский орден торжественно собрался у стен Порциункулы. Могучая армия разбила лагерь, и назвали это «Собором соломенных хижин». Предание говорит, что именно тогда святой Франциск и святой Доминик встретились в первый и последний раз. Еще оно говорит (и это вполне возможно), что здорового и властного испанца поразила благочестивая безответственность итальянца, собравшего такое множество людей, не позаботившись о штабе. Доминик, как почти все испанцы, был прирожденным воином. Его любовь к людям выражалась в предусмотрительности, в заботе. Вероятно, он просто не мог понять, как влияет на людей сама личность Франциска. Вся округа собралась там, чтобы обеспечить питьем и пищей благочестивый пикник. Крестьяне тащили им бочки вина и груды дичи; вельможи прислуживали им, как лакеи. Это был истинный триумф беззаботной веры не только в Бога, но и в человека. Отношения Франциска и Доминика в достаточной мере сложны, их много обсуждали, во многом сомневались, а историю «Собора соломенных хижин» мы знаем со слов францисканцев. Но сказать о нем стоит именно потому, что, перед тем как выйти в свой бескровный поход, святой Франциск, быть может, встретил святого Доминика, которого сурово осуждают за поход не столь бескровный. В такой маленькой книге не объяснишь, что в крайнем случае святой Франциск не хуже святого Доминика защищал бы христианское единство силой. Понадобилась бы очень большая книга, чтобы объяснить одно это. Дело в том, что современные люди ничего не разумеют в терпимости, и рядовой агностик новых времен и впрямь не ведает, что понимает он сам под свободой совести и равенством всех религий. Он принял как данность свою этику и навязывал силой что-нибудь вроде благопристойности, а потом ужаснулся и рассердился, что кто-то другой – христианин ли, мусульманин – верит в свою этику и навязывает силой что-нибудь вроде благочестия. Напоследок же он взглянул на кособокий лабиринт без выхода, в котором подсознательное сталкивается с неведомым, и назвал все это свободомыслием, терпимостью, широтой. Средневековые люди считали, что, если общество стоит на какой-то идее, оно должно за нее бороться, будь она проста, как ислам, или тщательно уравновешена, как христианство. Современные люди думают так же, и обнаруживается это, когда коммунисты нападают на идею собственности, – только мысли их не очень четки, ибо они недодумали до конца, что же такое собственность. Вероятно, Франциск нехотя признал бы вместе с Домиником, что в самой крайности можно сражаться за истину; но Доминик уж точно соглашался с Франциском, что много лучше убеждать и обращать. Доминик гораздо больше проповедовал, чем преследовал, но, конечно, действовали они по-разному, потому что были разными людьми. Во всем, что делал святой Франциск, есть что-то детское, даже своевольное. Он начинал свои дела с места, сразу, словно только что их придумал, и отправлялся за море, как убегает из дому мальчик, чтобы стать моряком. Начал он с того, что стал святым покровителем зайцев[112]. Ему и в голову не пришло подождать, пока хоть как-то помогут те богатые и влиятельные люди, которые уже помогали ордену. Он увидел корабль и бросился туда, как бросился бы куда угодно. Из-за этой спешки так и кажется, что он всю жизнь бежал, всю жизнь спасался в самом прямом, не богословском смысле. С попутчиком, которого он прихватил по дороге, он пристроился среди груза; но плавание оказалось неудачным, и пришлось вернуться в Италию. Видимо, после этой попытки он собрал орден в Порциункуле, а потом пытался отразить угрозу ислама, проповедуя маврам в Испании. Именно там первым францисканцам удалось стать мучениками. Но великий Франциск тщетно простирает руки к страданиям. Никто не сказал бы с таким пылом, что он дальше от Христа, чем те, другие, которые уже обрели Голгофу. Он хранил в душе, словно тайну, необычайшую из всех печалей, и тосковал по мученической смерти. Следующее путешествие было удачней, во всяком случае, он прибыл на место, в штаб-квартиру крестового похода, к осажденной Дамiette, и быстро, как всегда, поспешил разыскать штаб-квартиру неверных. Ему удалось поговорить с султаном, и тогда, вероятно, он предложил, а может, и претерпел испытание огнем, подбивая мусульманских учителей веры сделать то же самое. Если это и неправда, нет сомнений, что он мог так поступить. Во всяком случае, броситься в огонь не отчаянней, чем ринуться в самую гущу фанатиков, оснащенных орудиями пытки, и просить их отречься от Магомета. По преданию, магометанские муфтии[113] отнеслись холодно к его вызову, а один даже скрылся, пока это обсуждали, что весьма вероятно. Как бы то ни было, Франциск вернулся таким же свободным, как пришел. Быть может, он и впрямь понравился султану; летописец намекает даже на тайное обращение. Может быть, среди полудиких восточных людей его ограждало то сияние святости, которое, как говорят, окружает в таких местах идиота. Может быть, тут сыграло роль то вельможное, хотя и своевольное вежество, которым, при всех своих пороках, нередко отличались султаны, перенявшие нрав и традицию

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Саладина[114]. Может быть, наконец, повесть о святом Франциске подобна смешной трагедии или просто комедии под названием «Человек, который не мог стать убитым». Люди слишком любили его, чтобы убить его за веру; люди принимали его, не принимая его вести. Но все это – лишь догадки, и нам не дано судить о великом замысле, ибо мост, который мог бы соединить Восток и Запад, рухнул сразу, оставшись навсегда одной из несбывшихся возможностей истории.

Тем временем великое движение шло по Италии огромными шагами. Опираясь на власть папы и на любовь народа, сдружив сословия, францисканцы подняли мятеж, чтобы перевернуть все, что только было в церковной и в общественной жизни. Прежде всего они начали строить, как случается всякий раз, когда Европа возрождается заново. В Болонье они построили великолепную миссию и сами не меньше своих поклонников восхваляли ее на все лады. Единству этому помешали. Только один из всех толпившихся гневно обличил здание, словно то была Вавилонская башня, и возмущенно спросил, с каких это пор Господу Бедность оскорбляют роскошью чертогов. Это Франциск вернулся в лохмотьях из своего крестового похода и в первый и последний раз повысил голос на своих детей.

Так еще одна тень омрачила его душу и в определенном смысле помогла подготовить следующую ступень пути, самую одинокую и таинственную. То, о чем я расскажу сейчас, окутано туманом сомнений, даже дата; некоторые летописцы относят это к гораздо более ранней поре. Но когда бы это ни случилось, именно здесь его жизнь достигла вершины, и лучше всего указать на это сейчас. Я говорю, «указать», потому что вряд ли можно сделать больше; тут все тайна – и в высшем, духовном, и в простом, историческом смысле. Примерно было так: святой Франциск с молодым братцем зашли по пути в праздничный замок, где ждали сына, посвященного в рыцари. В это обиталище вельмож, как обычно, вошли невзначай и стали проповедовать благую весть. Наверное, кто-нибудь да слушал святого «как ангела Господня»; во всяком случае, так слушал дворянин по имени Орландо ди Кьюзи. У него были земли в Тоскане, и он выразил почтение к Франциску небывалым, живописным образом. Он подарил ему гору, а гор, должно быть, еще не дарили в нашем мире. Францисканские правила запрещали принимать деньги, но ничего не говорили о горах. Кроме того, святой Франциск принял ее как бы на время, условно, – он все принимал так; но ушел туда скорее отшельником, чем монахом. Вернее, он уходил туда, чтобы молиться и поститься, и не брал даже ближайших друзей. То была гора Альверно в Апеннинах, и на вершине ее осталось навсегда темное облако, окруженное сиянием славы.

Никто никогда не узнает, что именно там случилось. И самые духовные, и самые обычные исследователи святой жизни много спорили об этом. Может быть, святой Франциск никому ничего не сказал; во всяком случае, если он и говорил, то очень мало. По-видимому, он лишь однажды обронил несколько слов, и слышал их лишь один из братцев. Как бы ни мучили меня благоговейные сомнения, признаюсь, что этот единственный намек для меня исключительно реален; есть вещи, которые реальнее, чем повседневная реальность. Образ многозначен, он странен, но мы ощущаем за ним что-то поражающее чувства, как поражают их многоочитые твари Откровения. Франциск увидел в небе, над собой, огромное крылатое существо, вроде серафима, распростертое крестом. Осталось тайной, было ли оно распято, или только раскинулось по небу, или держало огромный крест. Но все же ясно, что могло оно быть и распятым, ибо, по слову святого Бонавентуры, святой Франциск удивился, что серафима можно распять – ведь эти таинственные, древние ангелы избавлены от немощи Страстей. По предположению святого Бонавентуры, странность эта означала, что святой Франциск будет распят как дух, а не как человек; но что бы это ни значило, самое видение удивительно, поразительно живо. Над Франциском заполонила небо невообразимая сила, древняя, как Ветхий днями; сила, которую здравые люди воображали крылатым быком или дивным чудищем, – и она страдала, словно подбитая птица. По преданию, мука серафима пронзила душу Франциска мечом жалости, и он забылся в экстазе, близком к агонии. Потом видение исчезло, агония кончилась, тишина и чистый утренний воздух мягко устлали лиловые расщелины гор. Одинокий Франциск уронил голову и обрел покой, который приходит, когда что-то свершилось, завершилось; и, посмотрев вниз, увидел следы гвоздей на своих ладонях.

## Глава 9 ЧУДЕСА И СМЕРТЬ

Поразительная повесть о стигматах, завершившая предыдущую главу, завершила и жизнь святого Франциска. Собственно, это было бы концом, даже если бы

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
случилось вначале; но самое достоверное предание относит это к поздней поре и говорит, что оставшиеся земные дни были подобны призрачной жизни теней. Может быть, прав святой Бонавентура, и святой Франциск увидел в огромном зеркале свою душу, способную страдать если не как Бог, то как ангел. Может быть, видение выражало – проще и величественней, чем привычное христианское искусство, – непостижимую смерть Бога. Во всяком случае, оно увенчало и запечатлело печатью жизнь святого Франциска. Кажется, именно после этого видения он начал слепнуть.

Для нашего поверхностного очерка видение это важно и по другой, не столь духовной причине. Оно дает нам повод поговорить о множестве особых случаев, если хотите, сказок из жизни святого Франциска. Не назову их более спорными, чем все остальное; но спорили о них больше. Я имею в виду бесчисленные свидетельства и предания о его чудотворной силе и мистическом опыте. Нетрудно разукрасить ими, как алмазами, каждую страницу; но, учитывая цель этой книги, я предпочел, хотя бы наспех, собрать алмазы в кучу.

Поступил я так из уважения к предрассудку. Конечно, этот предрассудок уже отходит в прошлое, исчезает под натиском просвещения, особенно же под натиском научных фактов. Однако те, кто постарше, упорно держатся за него, да и молодые нередко следуют традиции. Как вы уже догадались, я говорю о знаменитом «чудес не бывает!». Кажется, сказал это Мэтью Арнольд, прекрасно выразив веру наших викторианских дядюшек и дедов. Другими словами, я имею в виду наивный и поверхностный скепсис, возникший в начале XVIII века, когда несколько философов довели до всеобщего сведения, что они разобрались в мироздании, как в часах, механизм оказался очень простым и теперь ясно с первого взгляда, что может случиться, а что нет [115]. Кстати, не надо забывать, что скептики эти, дети Золотого века скептицизма, сомневались в первых сенсациях науки не меньше, чем в косных легендах веры. Когда Вольтеру сказали, что высоко в Альпах нашли рыбы кости, он расхохотался и предположил, что их оставил постыющийся отшельник или монах (видимо, из монашеского коварства).

Теперь всякий знает, как наука отомстила скептикам. Граница вероятного снова не менее туманна, чем во мгле средневековья; хуже того: вероятного все больше, невероятного все меньше. Во времена Вольтера люди гадали, какое чудо им удастся разоблачить следующим. В наши дни мы гадаем, какое чудо придется проглотить.

Но задолго до наших дней, во времена моей юности, когда образ святого Франциска забрезжил передо мной и даже издали поразил меня, в ту викторианскую эпоху, когда добрые дела святого совершенно серьезно отделяли от его чудес, я не совсем понимал, как это делается. Я не понимал, и сейчас не понимаю, что именно дает возможность уверенно делить на части столь единые с виду летописи. Все, что мы знаем об истории, в частности о средних веках, мы узнали из хроник, связанных записей, составленных иногда неизвестными, всегда уже умершими ныне людьми, которых нельзя подвергнуть перекрестному допросу. Я не сетую на то, что историки во многом сомневаются. Но почему бы им не пойти дальше? Ну хорошо, пусть они правы, и все эти сказки никто не включил бы в летопись, кроме безумца или лжеца; но следует отсудить лишь то, что хроники написаны лжецами и безумцами. Например, историки пишут: «Монахи-фанатики считали возможным оповещать людей о чудесах, творящихся у могилы Фомы Беккета» [116]. Почему бы им не сказать: «Монахи-фанатики дошли до того, что приписали убийство в соборе четырём рыцарям короля Генриха»? Они пишут: «Легковерные люди той эпохи верили, что Жанна д'Арк [117] посредством чуда узнала переодетого дофина». Почему бы не написать: «Легковерные люди той эпохи поверили, что неизвестную крестьянку пустили ко двору дофина»? Так и здесь. Нам говорят, что святой Франциск не мог выйти невредимым из огня. Почему же мы должны верить, что он вышел невредимым из рук фанатичных мусульман? Я ничего не доказываю, я просто спрашиваю. Совершенно все, что мы знаем о святом Франциске, поведали нам люди, которые свято верили в чудеса. Может быть, это монашеские сказки и вообще не было на свете ни Франциска, ни Бекета, ни Жанны. Я довожу сейчас все до абсурда; но я свожу к нелепости мысль о нелепости чудес.

Да и чисто логически такой метод привел бы к дичайшим нелепотям. Ту или иную историю можно назвать невероятной лишь в том случае, если автору нельзя верить; но никак не тогда, когда другие ее части вполне правдоподобны. Пусть кто-нибудь скажет, что видел человека в желтоватых брюках, который прыгнул сам себе в глотку, и мы не станем клясться на Писании, что брюки были желтоватыми. Пусть скажут, что на голубом воздушном шаре долетели до Луны, и мы не дадим слова, что шар был именно голубым. Если вы сомневаетесь в рассказах о чудесах святого Франциска, логически правильно усомниться и в его существовании. И впрямь, недавно безумный скепсис дошел до того, что усомнились в существовании святого

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Патрикия[118], что и с исторической, и с человеческой точек зрения ничуть не разумней. Было время, когда все сводили к мифу, растворяя добрую часть истории в жарких лучах мифа о Солнце. Кажется, это солнце закатилось, но место его заняли бесчисленные луны и метеоры.

Из святого Франциска можно сделать прекрасный солярный миф. Кем же ему быть еще, если он теперь известен прежде всего стихами, обращенными к Солнцу? Незачем и говорить, что костер в Сирии – это восход, а кровавые раны в Тоскане – закат. Я мог бы и дальше развивать мою теорию; но, как всегда бывает в таких случаях, другая, ничуть не хуже, приходит мне на ум. Не могу понять, как до сих пор не догадались, что легенда о святом Франциске чисто тотемическая. Она просто кишит тотемами. Леса, где бродили братцы, кишат ими, как индейская сказка. Считается, что Франциск называл себя ослом, но истина в том, что прежде имя «Франциск» давали настоящим четвероногим ослам, превратившимся позже в героя или полубога. Вот почему Брат Волк и Сестра Лиса напомнили мне Братца Волка и Братца Лиса! Говорят, в невинную пору детства мы действительно верим, что корова может разговаривать, а лисица сделать смоляное чучелко. Так это или не так, существует пора невинности, позволяющая поверить, что святой Патрикий – солярный миф, а святой Франциск – тотем. Но для многих из нас эти райские радости утеряны. Скоро я скажу, что только в одном смысле мы можем для удобства различать невозможное от возможного в такой повести. Дело тут не в законах природы, а в законах рассказа: одно рассказывают серьезней, чем другое. Но даже так я ничего различать не буду из вполне практических соображений – ведь все снова пошло в переплавку и многое выйдет из нее в таком виде, который рационалисты назвали бы чудовищным. Конечно, главные, самые важные вещи в религии и философии все те же. Человек верит или не верит, что огонь может кого-то не сжечь, в зависимости от того, как объясняет он себе само явление. Если огонь сжег девять прутьев из десяти, потому что такова его природа, он сожжет и десятый. Если огонь сжег девять прутьев, потому что такова Божья воля, Бог может захотеть, чтобы десятый прут не сгорел. Никому не переступить этого различия, и для верующего так же логично верить в чудеса, как для неверующего не верить. Словом, есть только один разумный довод против веры в чудеса – вера в материализм. Но главные, твердые истины веры и науки – предмет ученого труда, здесь им не место.

Я пишу историю или биографию, а тут ничего твердого нет. Мир запутался в том, что возможно, что невозможно, и никто не знает, какая научная гипотеза поддержит устарелое суеверие. Три четверти чудес, приписываемых святому Франциску, легко и просто объяснил бы любой психолог – не так, как объясняет их христианин, но так, как не стал бы объяснять материалист. Среди них, например, много чудесных исцелений. Стоит ли скептику высокомерно отмахиваться от них, если лечение верой стало в Америке крупным бизнесом вроде цирка? Есть и другие чудеса, когда Франциск, подобно Христу, читал чужие мысли. Стоит ли обличать их только потому, что на них наклеен ярлык «Чудо», если чтение мыслей стало у нас салонной игрой? Я не верю, конечно, что эти трюки хоть чем-нибудь похожи на добрые дела святых, разве что в смысле «*Diabolus simia Dei*»[119]. Но дело не в том, во что верю я, а в том, во что и почему не верят скептики. Практичный биограф или историк может решить, что лучше он подождет и, пока все не улеглось, не будет устанавливать окончательно, чему нельзя верить.

Приняв такое решение, он волен выбрать один из двух путей, и не без колебаний выбрал его я. Дстойней и смелее рассказать все подряд, как делали первые летописцы. Вероятно, историки еще вернуться на этот здравый и чистый путь. Но помните, что моя книга только знакомит со святым Франциском, а те, кого надо знакомить, – чужие. Я хочу, чтобы к святому Франциску хотя бы прислушались, а для этой цели вполне законно так расположить факты, чтобы знакомое шло перед незнакомым, понятное перед непонятным. Было бы слишком хорошо, если бы в моем поверхностном очерке нашлась строка-другая, побуждающая читать о святом Франциске; те же, кто станет о нем читать, скоро обнаружат, что сверхъестественное в его жизни столь же естественно, как и все прочее. Однако я хотел, чтобы очерк этот касался лишь человеческих его свойств, ибо говорю я только о том, к чему он призывал всех людей, в том числе скептиков. Потому я и выбрал второй путь – решил показать сначала, что всякий, кроме врожденных дураков, увидит в святом Франциске Ассизском реальное, историческое лицо; а уж потом поведать вкратце о сверхъестественной силе, ему присущей. Остается прибавить несколько слов, чтобы любой человек, любых взглядов, сумел отличить суть и смысл жития от вымыслов или слухов.

О святом Франциске Ассизском ходит столько легенд и сказаний, и почти все они вошли в столько прекраснейших сборников, что мне пришлось ограничить себя, идти по одной тропе, разъясняя, и только вставлять то там, то тут какую-нибудь историю, как картинку к разъяснениям. В особенности относится

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
это к легендам о чудесах. Если мы примем все, что написано, мы не без изумления подумаем, что сверхъестественных событий в жизни святого было больше, чем естественных. Католической традиции, столь часто совпадающей со здравым смыслом, противоречит мысль о том, что именно так бывает в человеческой жизни. Даже если считать эти истории сверхъестественными или чудесными, мы ощутим, что они разные не потому, что мы видели много чудес, а потому, что много читали. Некоторые из них похожи на сказки не столько по содержанию, сколько по форме. Вероятно, это и есть сказки, которые крестьяне рассказывали детям у огня, не излагая учение, которое можно принять или оспорить, а просто соскальзывая на проторенную дорогу сказочного сюжета. Другие больше похожи на свидетельство, и надо решать, ложь это или правда; но всякому, знающему человеческую природу, очень трудно поверить, что это ложь.

Принято считать, что история о стигматах не легенда, а ложь; не посмертное добавление к славе святого Франциска, а прямой обман, выдумка современников. Тогда приходится предположить заговор; многие и пытались все свалить на несчастного Илию<sup>[120]</sup>, которого не одной партии было удобно выставить подлецом. Обычно рассуждают так: первые биографы – святой Бонавентура, Фома из Челано, Три Братца – пишут, что у святого Франциска открылись раны, но не пишут, что сами их видели. Этот довод меня не убеждает. Никто из биографов не давал свидетельских показаний. Они писали хронику, перечисляли события. Они говорят: «Раны открылись», а не: «Я видел, как открылись раны», но точно так же они говорят: «Святой Франциск отправился в Порциункулу», а не: «Я видел, как святой Франциск отправился в Порциункулу». И я снова не понимаю, почему надо верить их свидетельству в одном случае и нельзя ему верить в другом. Здесь все едино; странно и неуместно было бы, если бы летописцы принялись клясться, что видели сами и проверяли то или иное чудо. Мне кажется, спор возвращает нас к тому, о чем мы говорили. Конечно, можно сказать, что вы – материалист и в чудеса не верите. Это вполне логично; но тогда вы обязаны отрицать чудеса, если о них пишет современный ученый, как отрицали их у средневекового монаха. Немало найдется ученых, которых вам придется отвергнуть.

Что бы мы ни думали о сверхъестественном в простом, почти сказочном смысле слова, мы не поймем святого Франциска, особенно после Альверно, если не поймем, что он жил сверхъестественной жизнью. Чем ближе он подходил к смерти, тем больше сверхъестественного с ним случалось. Оно не отделяло его от естественного – вся суть его особенной жизни в том, что он еще совершенней с естественным соединялся. Он не становился чужим и отрешенным, ибо вся суть его мистики в том, что он становился радостней и человечней. Но суть его жизни и суть его мистики в том, что сила, которая им двигала, была не от мира сего. Если это не ясно из всей его жизни, то, может быть, станет ясно из рассказа об его смерти.

Мы вправе сказать, что он странствовал при смерти, как странствовал при жизни. Чем яснее становилось, что ему плохо, тем больше носило его с места на место, словно он возвещал о своей болезни, а может, о смерти. Он побывал в Риети, в Нурсии<sup>[121]</sup>, наверное, в Неаполе, несомненно – в Кортоне, у озера. Особенно трогательно и далеко не просто, что пламя его жизни взметнулось ввысь и сердце возвеселилось, когда он увидел вдали на холмах Ассизи строгие столпы Порциункулы. Его, оставившего дом ради видения, отринувшего всякий уют и собственность, его, чьим заветом и чьей славой была бездомность, поразила парфянская стрела человеческой природы, тоска по дому пронзила его. Он тоже тосковал по родной колокольне, только его колокольня гораздо выше, чем наша. «Никогда, – вскричал он с той внезапной силой, которую обретают при смерти сильные духом, – никогда не предавайте этих мест! Куда бы вы ни шли, где бы ни бродили, всегда возвращайтесь домой, ибо здесь – священный дом Божий!» Шествие прошло под арками дома, он лег, и братья окружили его для последнего, долгого бдения. Не стоит обсуждать, как часто делают, кого из преемников он благословил, как именно, с каким значением. В ту великую минуту он благословил нас всех. Он попрощался с самыми близкими и самыми старыми своими друзьями и попросил, чтобы его сняли с жесткого ложа и положили на пол. По преданию, он был в одной власянице, как тогда, когда ушел от отца в пронизанный ветром лес. Так он утверждал окончательно свою великую навязчивую идею – хвала и слава вздымались к небу из нищеты, из ничего. Он лежал, и его слепые глаза видели только Того, Кто создал их и приковал навеки. Мы можем твердо верить, что в последнем, непостижимом одиночестве он видел лицом к лицу само Воплощенное Слово, Христа распятого. Но у тех, кто стоял вокруг него, наверное, были и другие мысли; много воспоминаний толпилось в полумраке, в сумраке того дня, в который мы потеряли друга. Там лежал и умирал не Доминик, глава псов Божьих, вождь богословских битв, которые можно изложить по пунктам и передать ученикам; не тот, кто завел

франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
часы простой, демократической дисциплины, которую можно воссоздать. Из мира уходила неповторимая личность, уходил поэт. Никто с тех пор не смотрел на мир так, как смотрел он. Его нельзя ни заменить, ни повторить. Кто-то сказал, что на свете был только один христианин, и Его распяли. Правильней было бы сказать, что на свете был один францисканец, и звали его Франциском. Он оставил после себя великое и радостное дело, но одного оставить он не мог, как не может художник оставить свои глаза. Он творил свою жизнь, творил и смерть, и с большим правом, чем Нерон, его антипод, мог сказать: «Какой артист погибает!» Нерон всю жизнь позировал, как актер; франциск двигался по свету с естественной грацией канатоходца. Но святой франциск не опустился бы до таких слов, даже мыслей; мысли его вознеслись высоко, и нам не последовать за ним на те высоты, куда поднимает только смерть.

Вокруг него стояли братцы в бурых одеждах, и они любили его, хотя потом и спорили между собой. Бернард, его первый друг, и Ангел, его помощник, и Илия, его преемник, которого предание пыталось приравнять к Иуде, хотя он, наверное, был не хуже чиновника, занявшего чужое место. Беда его в том, что под францисканской одеждой билось не францисканское сердце или францисканский капюшон покрывал не францисканскую голову. Он не был хорошим францисканцем, но мог бы стать хорошим доминиканцем. Франциска он, во всяком случае, любил; даже последние негодяи любили Франциска. Как бы то ни было, он стоял с другими, а часы уходили, и удлинялись тени в доме Порциункулы. Не надо думать о нем плохо, не надо подозревать, что он уже лелеял в мыслях будущие разлады, ссоры и самолюбивые распри осиротевших братцев.

Наверное, птицы узнали, когда это случилось, и всполошились на вечернем небе. Когда-то, повинаясь знаку, они полетели на четыре стороны света и образовали крест; сейчас таким же пунктиром они могли бы начертить на небе знаки новых пророчеств. В лесу притаились маленькие твари, которых никто с той поры не сумел так пожалеть и понять. Говорят, животные чувствуют то, чего не чувствуем мы, их духовные владыки; и я не знаю, встревожились ли воры, изгои и преступники, догадались ли они, что случилось с тем, кто не умел презирать.

Но в переходах и портиках Порциункулы все застыло, и люди в бурых одеждах обратились в бронзовые изваяния, ибо остановилось сердце, которое не могло разбиться, пока держало мир.

## Глава 10 ЗАВЕТ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА

Конечно, хотя бы в одном смысле есть грустная ирония в том, что святой Франциск, который всю свою жизнь хотел согласия, умер среди растущих неладов. Но не надо, подобно многим, преувеличивать эти разногласия и говорить о крушении его идеалов. Не надо думать, что дело его рухнуло под тяжестью порочного мира или, как теперь считают, еще более порочной Церкви. Я пишу о святом Франциске, а не о францисканском ордене, тем более не о католической Церкви, и не о папстве, и не о том, как отнеслись Церковь и папа к крайним францисканцам. Поэтому я очень кратко расскажу о разладе, который последовал за смертью великого святого и омрачил его последние дни. Речь шла в основном об обете бедности, об отказе от собственности. Насколько я знаю, никто не спорил с тем, что у францисканца не должно быть личной собственности. Наоборот, некоторые францисканцы, взывая к авторитету Франциска, шли дальше, чем он, и, наверное, дальше кого бы то ни было. Они предлагали уничтожить не только личную собственность, но и собственность вообще. Они отказывались владеть сообща орудиями, зданиями или запасами; отказывались владеть даже тем, чем уже владели. Без всякого сомнения, многие, особенно в начале, были бескорыстно и глубоко преданы делу святого. Но нет сомнения в том, что папа и Церковь не сочли их планы разумными и выполнимыми и возразили им, хотя ради этого пришлось поступиться кое-чем из завещания. Совсем нелегко доказать, что монахи распорядились имуществом правильно или распорядились вообще, ибо они отказались чем бы то ни было распоряжаться. Всякий знал, что францисканцы – коммунисты, но эти были скорее анархистами. Многие идеалисты социалистического толка, особенно последователи Шоу[122] или Уэллса, представляют этот разлад как насилие могущественных и злых церковников над истинным, то есть социалистическим, христианством. В действительности же крайний идеал был прямо противоположен социализму и всякой социальности. Сторонники крайности отрицали именно то совместное владение, на котором стоит социализм; они отказались от того, ради чего социалисты существуют. Неверно также, что папы обращались с

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org) крайними францисканцами грубо и враждебно. Папа очень долгое время придерживался компромисса – он как бы взял в залог, под опеку ту собственность, от которой они отказались. Случай этот напоминает нам о двух вещах, очень обычных в истории католичества, но непонятных поверхностным историкам нашей индустриальной цивилизации. Нередко святые были великими людьми, а папы – самыми посредственными. Но великие люди часто бывают не правы, а посредственные – правы. В конце концов, всякому честному и объективному человеку трудно отрицать, что папа был прав, когда он настаивал на том, что мир создан не только для францисканцев. В этом и была суть разлада. За частным вопросом скрывался другой, гораздо более глубокий, и мы ощущаем его, читая о спорах. Изложим истину хотя бы так: святой Франциск был настолько велик и необычен, что мог бы основать новую религию. Многие его последователи были в той или иной мере готовы счесть его именно основателем религии. Они хотели, чтобы францисканский дух вырвался из христианства, как христианский дух вырвался из Израиля; чтобы он затмил христианство, как оно затмило Израиль. Святой Франциск – блуждающий огонь на дорогах Италии – должен был разжечь пожар, в котором сгорела бы христианская цивилизация. Это и озаботило папу. Он решал, христианству ли впитать франциска или франциску – христианство, и решил правильно, ибо Церковь могла включить все, что есть во францисканстве хорошего, но францисканцы не могли включить все, что есть хорошего в Церкви.

Всякий, кто не видит, что католический здравый смысл шире, чем францисканский пыл, не понимает очень важной вещи, связанной с лучшими свойствами того, кем они по праву восхищаются. Франциск Ассизский, как мы говорили много раз, был поэтом; а значит это, что он был из тех, кто выражает себя. У таких людей даже их недостатки идут им на пользу. Поэт обязан своей неповторимостью и тому, что в нем есть, и тому, чего в нем нет. Но в рамку, окаймляющую портрет человека, нельзя втиснуть все человечество. В святом Франциске, как и во всех гениях, даже отрицательное – положительно, ибо это часть их личности. Прекрасный тому пример – его отношение к учености и науке. Он мало знал и, в сущности, отрицал книги и книжность. Со своей точки зрения, с точки зрения своего дела он был совершенно прав. Он хотел быть таким простым, чтобы деревенский дурачок его понял, – в этом суть его вести. Он взглянул впервые на мир, который мог быть создан только что, утром, – в этом суть его видения. Кроме дней творения, рая, Рождества и Воскресения, у мира не было истории. Но так ли уж хорошо, так ли необходимо, чтобы истории не было у Церкви? Наверное, я прежде всего хотел показать, что святой Франциск ходил по миру, как Божье прощение. Он пришел – и человек получил право примириться не только с Богом, но и с природой и, что еще труднее, с самим собой, ибо приход его означал, что ушло застоявшееся язычество, отравившее античность. Он открыл ворота Темных веков, как ворота тюрьмы или чистилища, где люди очищали себя покаянием в пустыне или подвигами в бою. Он передал им, что они могут начать сначала, то есть разрешил им забыть. Люди могли открыть новую, чистую страницу и вывести на ней большие первые буквы, простые и яркие, как буквы средневековой рукописи; но для такой детской радости было нужно, чтобы они перевернули страницу, запятнанную кровью и грязью. Я уже говорил, что в стихах первого итальянского поэта нет ни следа языческой мифологии, которая надолго пережила язычество. Быть может, он, единственный в мире, не слышал о Вергилии[123]. В сущности, так оно и должно быть, ведь он был первым итальянским поэтом. Он и должен называть соловья соловьем, ибо песнь его не запятнана ужасными преданиями об Итисе и Прокне[124]. Да, вполне правильно и даже хорошо, если святой Франциск не слышал о Вергилии. Но хотим ли мы на самом деле, чтобы о Вергилии не слышал Данте? Хотим ли мы, чтобы Данте не знал языческой мифологии? Ведь у Данте эти предания и впрямь служат правоверию; могучие языческие образы, скажем, Минос или Харон[125], лишь наводят на мысль о великой естественной религии, с самого начала, позади всей истории, возвещающей о вере. Хорошо, что в *Dies irae*[126] есть не только Давид[127], но и Сивилла[128]. Конечно, святой Франциск сжег бы все листы Сивиллиных книг ради одного листка с соседнего дерева. Но мы рады, что у нас есть *Dies irae*, а не только Гимн Солнцу. Святой Франциск пришел в мир как приходит младенец в темный дом, снимая с него проклятие. Он растет, ничего не зная о минувшей беде, и побеждает ее своей невинностью. Не только невинность необходима ему, но и неведение; он должен играть в зеленой траве, не догадываясь, что под нею зарыт убитый, и карабкаться на яблоню, не зная, что кто-то на ней повесился. Такое прощение и примирение принес миру свежий ветер францисканского духа. Но это не значит, что весь мир должен был перенять это неведение. А многие францисканцы хотели бы, чтобы он перенял. Довольно многие францисканцы хотели, чтобы францисканская поэзия изгнала прозу бенедиктинцев. Для

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
ребенка из нашей притчи это вполне естественно. Для ребенка мир должен быть большой свежесвеженной детской, на стенах которой он может рисовать мелками те неуклюжие, яркие картинки, с которых началось все наше искусство. Он вправе считать свою детскую самой лучшей комнатой, какая только бывает. Но в Доме Господнем обитателей много[129].  
Всякая ересь была попыткой сузить Церковь. Если бы францисканское движение стало новой религией, это была бы узкая религия. Там, где она превращалась в ересь, это и была узкая ересь; и делала она то, что всегда делает ересь, – противопоставляла настроение разуму. Настроение было поначалу чистым и кротким, как у святого Франциска, но не оно одно заполняет разум Бога и даже разум человека. Да и само настроение вырождалось, оно превращалось в безумие. Сектанты, названные Fraticelli[130], сочли себя единственно верными сыновьями святого Франциска и отказались от уступок Риму во имя того, что они именовали истинным замыслом Ассизи. Очень скоро эти францисканцы стали яростными, как флагелланты[131]. Они создавали новые и новые, все более жестокие запреты – они пришли к отрицанию брака, то есть к отрицанию человечества. Они объявили войну человечности во имя самого человеческого из святых. В сущности, они погибли не от преследований. Многие из них в конце концов переубедили, а горсточка упорных уже ничем не походила на святого Франциска. Беда их в том, что они были мистики, мистики – и все. Мистики, а не католики; мистики, а не христиане; мистики, а не люди. Они разложились, расточились, ибо не внимали разуму. А какими бы дикими ни казались нам действия святого Франциска, он всегда зависел от разума, был связан с ним невидимой и неразрывной нитью.  
Великий святой был здоров; и самый звук этого слова, как низкий аккорд арфы, возвращает нас к тому, что важнее его почти безумных чудачеств. Он не был просто эксцентриком, ибо всегда стремился к центру. Он блуждал и кружил по лесу, но шел он всегда домой. Его смирение не позволяло ему стать ересиархом; но и человечность его не позволяла ему впасть в крайность. Одно чувство юмора, которым просолены все истории о его чудачествах, уже не дало бы ему застыть в торжественном самодовольстве сектанта. Он всегда был готов признать, что не прав; и его последователи признали его кое в чем неправым, чтобы доказать, что он прав. Это они, настоящие последователи, доказали его правоту и разнесли его правду по миру. Францисканский орден не окаменел и потому не рассыпался в прах. Оплот ордена, его ствол, принес плоды. Среди верных сынов – Бонавентура, великий мистик, и Бернардино[132], народный проповедник, вернувший в Италию благочестивые буффонады скомороха Божия. Среди них – Раймонд Луллий со своим странным учением и смелыми планами обращения мира. Среди них – Роджер Бэкон[133], первый натуралист, чьи опыты со светом и водой просты и прекрасны той красотой, которая отличает начало естественных наук; Бэкон, которого самые упрямые материалисты признали отцом науки. Поистине, эти великие люди совершали для мира великие, полезные и очень разные дела; но по смелости их, по их простодушию мы узнаем в них детей святого Франциска.  
Дух святого Франциска, дух благодарности, сохранился в них. Прежде всего святой Франциск умел дарить, и больше всего он ценил тот лучший дар, который зовется благодарением. Он знал, что хвала Богу стоит на самой прочной основе, когда не стоит ни на чем. Он знал, что лучше всего мы измерим чудо бытия, когда поймем, что, если бы не удивительная милость, нас бы просто не было. И эта великая истина, уменьшившись, повторяется в нашем отношении к Франциску. Он тоже слишком велик для всего, кроме благодарности. С ним начался рассвет, и мы увидели заново все очертания и все цвета. Величайшие люди, создавшие нашу цивилизацию, лишь его слуги и подражатели. Раньше, чем появился Данте, он дал Италии поэзию; раньше, чем пришел святой Людовик, встал на защиту бедных; раньше, чем Джотто написал картины, сыграл сами сцены. Однажды, когда святой Франциск на свой простой лад разыгрывал рождественское действо с волхвами и ангелами в негнущихся ярких одеждах и золотых париках вместо сияния, произошло поистине францисканское чудо – он взял на руки деревянного младенца, и тот ожил. Конечно, он думал только о вышнем, но можно сказать, что в эту минуту под его рукой ожило то, что мы зовем театром. Он любил петь, но его духовная сила не воплотилась ни в одном из искусств. Он сам был воплощенным духом; духовной сутью, которая вошла в мир раньше, чем мы увидели ее порождения во плоти; блуждающим огнем, от которого более земные люди могли зажечь и свечу, и факел. Он был душой средневековой цивилизации, когда у средневековья еще не было тела. И еще одна духовная волна идет от него – реформаторский пыл, который восходит к словам: «Бог наш – Бог бедных». Его жалость к людям живет во множестве средневековых законов, направленных против гордыни и жестокости богатых; жива она и сейчас во многих из тех, кого не очень точно называют христианскими социалистами, когда надо бы назвать католическими демократами. Никто не считает, что этого не было бы

Франциск Ассизский Гилберт Кийт Честертон [filosoff.org](http://filosoff.org)  
без него, но мы не можем подумать об этом, не вспомнив о нем, ибо он жил и  
переменил мир.

Каждый, кто понял, как много он дал, но выразит это неполно и сбивчиво,  
ощутит хоть в какой-то мере то бессилие, которому обязан святой Франциск  
половиной своей силы. Каждый поймет, что он имел в виду, толкуя о благом и  
неоплатном долге, и захочет сделать гораздо больше, и увидит, что ничего не  
сделал. Он узнает, как трудно выдержать ливень чудес, дарованных ушедшим,  
когда тебе нечем отплатить, нечего поставить в храме времени и вечности,  
кроме огарка, так быстро догоревшего у раки святого.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!